

10.335

1974

  
ქართული  
ბიბლიოთეკა

ლიტერატურა

გრეკია

12

1974



К 150-летию со дня рождения Рафиэла Эрнстава. Открытие памятника поэту 9 декабря 1974 года. Работа скульптора Элгуджи Амашукели.

0.335  
1974



# Литературная Грузия

Ежемесячный  
литературно-художественный  
и  
общественно-политический  
журнал

100-115



Орган Союза писателей Грузии

12  
ДЕКАБРЬ



19      Издательство  
            ЦК КП Грузии      74

Handwritten stamp



# «ლიტერატურული გრუზია»

(რუსულ ენაზე)

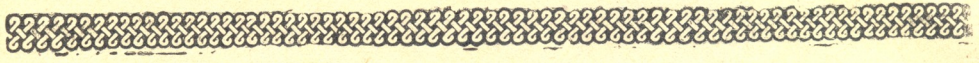
უძველესი ლიტერატურულ-მხატვრული და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი

წელიწადი მე-18

№ 12

დეკემბერი, 1974 წ.

საქართველოს საბჭოთა მწერლების კავშირის ორგანო



Главный редактор

**Георгий ЦИЦИШВИЛИ**

Редакционная

коллегия:

- Григол АБАШИДЗЕ,**
- Тенгиз БУАЧИДЗЕ,**
- Марк ЗЛАТКИН,**
- Лавросий КАЛАНДАДЗЕ,**
- Серго КЛДИАШВИЛИ,**
- Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ,**
- Владимир МАЧАВАРИАНИ,**
- Михаил МРЕВЛИШВИЛИ,**
- Гурам ХАРАИДЗЕ**  
(заместитель главного редактора),
- Владимир ХОМУТОВ**  
(ответственный секретарь),
- Георгий ХУЦИШВИЛИ,**
- Эммануил ФЕЙГИН,**
- Алеко ШЕНГЕЛИА.**

*Год издания*

**18-й**

## **АДРЕС РЕДАКЦИИ:**

ТБИЛИСИ, 380008, УЛ. ЛЕНИНА, 5

Приемная — 99-06-59

Главный редактор — 93-65-15

Заместитель главного редактора — 93-13-57

Ответственный секретарь — 93-31-28

## **ОТДЕЛЫ:**

Отдел прозы и очерка  
(редактор **КОРИНТЭЛИ К. Н.**) — 93-31-43

Отдел поэзии и искусства  
(редактор **ЗИНИНА В. Б.**) — 93-31-43

Отдел критики и публицистики  
(редактор **ДОБРОДЕЕВА Л. Т.**) — 93-65-19



Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются.

Технический редактор **Макалатия Г. Н.**

Корректор **Галионджян Н. А.**

© «Литературная Грузия». 1974 г.

## Содержание.

### ПОЭЗИЯ

- БОНДО КЕШЕЛАВА.** Радость и печаль. И я ищущу...  
 Жизнь моя! Другу. Ответ. Ждет и надеется...  
 Перевод Леонида Темина . . . . . 5
- ХУТА БЕРУЛАВА.** 22 сентября 1968 года. «Пусть хоть  
 отсохнет рука — не беда...» Снежный день. «О, но-  
 вый день, — залог эпох...» Перевод Ирины Сне-  
 говой. Варазисхеви, дом 14... «Какой волшебник  
 всколыхнул сперва...» Перевод Юрия Ряшен-  
 цева. Перед бурей. Перевод Михаила Си-  
 нельникова . . . . . 7
- МИХАИЛЬ СЕМЕНКО.** Кавказ. Пляж. Горизонт . . . . . 6
- НИКОЛАЙ АСТАХОВ.** Пять сонетов . . . . . 9

### ПРОЗА

- НОДАР ЦУЛЕЙСКИРИ.** Тутарчела. Роман. Окончание.  
 Перевод Маргариты Грженджицы . . . . . 10
- МИХАИЛ МРЕВЛИШВИЛИ.** Жажда жизни. Рассказ.  
 Перевод Нодара Тархнишвили . . . . . 44

### ОЧЕРК

- ВЛАДИМИР АЛПЕНИДЗЕ.** Пути и встречи . . . . . 51

### КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- ШАЛВА ПОРЧХИДЗЕ.** Песнопевец «края, обвитого  
 лозами» . . . . . 61

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

- ГИВИ ГВЕНЕТАДЗЕ. В поисках прототипа . . . . . 65  
СОЛОМОН ХУЦИШВИЛИ. Важа Пшавела о Л. Н. Тол-  
стом . . . . . 69

## ИСКУССТВО

- ИЯ ТУХАРЕЛИ. Всеволод Мейерхольд в Грузии . . . . . 71

## ПУБЛИЦИСТИКА

- МАРК ЗЛАТКИН. Путь к читателю . . . . . 75

## ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА

- МИХАИЛ ЗАВЕРИН. Когда поэт с поэтом говорит... . . . . . 79

## В МИРЕ КНИГ

- С. КАУХЧИШВИЛИ, И. НОДИЯ. Исследование о круп-  
нейшем центре поздневизантийской культуры . . . . . 87  
Т. КОРАНАШВИЛИ. Ошибочные построения . . . . . 88  
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУ-  
ЗИЯ» ЗА 1974 ГОД . . . . . 94



Раздумья над жизнью, верная дружба, чистая любовь, воспоминания о прожитом — такова тема новых стихов известного грузинского поэта Бондо Кешелавы. Читатель познакомится с ними в переводах Леонида Темина.

Бондо КЕШЕЛАВА

## Радость и печаль

\* \* \*

Ты жалуешься кстати и некстати,  
И радости тебе для сердца жаль,  
А ведь учти: они от века братья  
На этом свете — радость и печаль.

\* \* \*

К рассвету я вдруг обессилел,  
Но утром солнышка накал  
Меня согрел, вернул мне силу —  
Я снова человеком стал.

\* \* \*

Ты за такое взялся дерзновенно,  
Так захватил тебя отныне труд,  
Что впереди — извечное волнение,  
А может, днем и ночью муки ждут.

## И я ищу...

Я все ищу, не щадя свои силы,  
То, для чего я к лишениям готов.  
В поисках этих испепелил я —  
Не удивляйтесь! — тыщи часов!

Разве полвека — это не много?  
Нет, это много — полсотни лет.  
Радуюсь, хоть далека дорога,  
Жду... Удивительного здесь нет!

Жалости я не прошу! Тем боле  
Милости — ни от кого не хочу...  
Скачущий всадник,  
во чистом поле  
Я сердцевины дуба ищу.

## Жизнь моя!

О, жизнь моя!  
О, жизнь, не надо  
Прощаться до исхода дня.

Пусть даже тень манит прохладой,  
Но ты не оставляй меня!  
Не дай мне доживать уныло,  
Подобно крепостной стене,  
А дай мне здравие и силу  
И не дари печали мне.

## Другу

Друг, не забывай, являйся запросто!  
Зимними ночами за столом  
Славно говорить, делиться радостью,  
Не стесняйся — рад тебе наш дом.

Ты ведь знаешь, опытом наученный:  
Мое слово — тверже всех порук.  
Если промолчишь всю ночь задумчиво,  
Разве упрекну тебя я, друг?

## Ответ

Не утруждай себя!  
Я к ласкам не привык,  
Затронуть сердце мне — задача  
непростая.  
Ведь стая эфемер лишь окружит на миг  
И снова отлетит — спеша, спеша и тая...

Но если дашь ты мне, смятенному, покой,  
Я покорюсь тебе...  
Печаль свою утишу,  
И — кто мне запретит? —  
Я в радости такой  
Не только не стерплю запретов —  
Не услышу!

## Ждет и надеется...

Маленький домик кирпичный, забор  
голубой,  
Окна распахнуты, занавеси белопенны.  
Зрелость плодов отягчает деревья собой,  
Чайные розы причудливо вьются  
по стенам.



Самозабвенно звенит инструмент у окна...  
Ах, как поет она!..

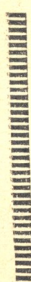
Звук обрывается резко:  
Ноту последнюю взяв, замолкает она,  
Бледная, тронет дрожащей рукой  
занавеску.

Стихнут волнение и инструмент за спиной  
(В час испытаний товарищ единый,  
пожалуй),

Что происходит в ней?  
Кто в том, скажите, виной,

Что, наклонясь, она руки мучительно  
сжала?

Через минуту собой овладела.  
И вот  
Косы в порядок приводит спокойно  
и споро.  
Первой любви эта юная девушка ждет,  
Ждет и надеется: скоро, наверное...  
скоро...



**МИХАИЛЬ СЕМЕНКО** — один из интереснейших украинских поэтов, автор около тридцати сборников стихов, разнообразных по тематике и художественной манере. С именем Михайля Семенко, в частности, связана организация литературного содружества «Новая Генерация» (1927—1931) и журнала того же названия, в списке авторов которого были также грузинские литераторы и деятели культуры Симён Чиковани, Демна Шенгелая, Виссарион Жгенти, Леван Асатиани, Сико Долидзе, Лео Эсакия.

Особенно тяготел поэт к природе. Он любил в ней, как и в человеческой душе, смелость и экспрессию. В этом нетрудно убедиться, ознакомившись с подборкой стихов Михайля Семенко в переводах Н. Ушакова (стихотворение «Кавказ») и дочери поэта, литературоведа И. М. Семенко.

## Михайль СЕМЕНКО

### Кавказ

Кавказ подо мною. И горы, и море.  
Слошь поэзия, но в меру пейзаж суров.  
Судьбой занесло меня с севера  
в санаторий,  
Сухуми внизу — и никаких орлов.

В сутки один пароход или пара их,  
Без «Советской Абхазии»  
Не проходит дня.  
На горе дача Чернявского,  
А на самой вершине — я.

Тучи в небе. Гаснут гор границы.  
Море шумит, немалый будет крен.  
Мне снится?.. Нет, совсем не снится...  
В Германию вернулся Людвиг Ренн<sup>1</sup>.

### Пляж

Пляж казался чем-то архаичным,  
Священно-солнечный мерещился Нил,  
Представлялись птицами  
эфемерно-вечными  
Груды голубеющих женственных тел.

<sup>1</sup> Прогрессивный немецкий писатель.

И выносило медных фиолетовыми  
волнами,  
И покачивало обцелованных  
жарким песком,  
И казались взоры певучим  
солнцем и томностью полными,  
И весело убегал в сторону желтый  
прибрежный излом.

Склонялись отблески за далекой  
пирамидой,  
Щекотали томно - атласный моря живот.  
И грустил Озирис, оставленный Изидой,  
Морщил пространство  
космато-задымленный пароход.

### Горизонт

Запах моря, запах соленый,  
Горьковатый и острый привкус от тины,  
Я — свален солнцем, я совсем сломанный,  
Слепь во взоре, нестройность картин.

Море, море — зови влюбившегося,  
Лазурью, галькой утешь в печали!  
Прими своего сына несмирившегося,  
Родного медузе бирюзовой и скалам.  
Приласти солнцем, зеркальным светом,  
Раскрой над взором лазурный зонт.  
Я проснусь соленым и горьким, где-то  
Влюбившимся в далекий горизонт.





Русский читатель давно уже знает поэзию Хути Берулава, автора книг «Песня о звездах», «Русское сердце», «Летящие годы» и других. Чувство высокой ответственности, характерное для него как для поэта и гражданина, — один из источников, питающих творчество Хути Берулава. Это чувство присуще всем его стихам, будь то высокая гражданственная поэзия или сузубо лирические стихи, — в них всегда бьется неукротимое сердце поэта, любящего жизнь, знающего цену дружбе и братству, умеющего видеть прекрасное.

Хута БЕРУЛАВА

## 22 сентября 1968 года

Мы сегодня в гостях — братья  
 чувствуют брата  
 На земле, что Гянджой называлась  
 когда-то!..  
 Ночь окутала сказочный дом Низами,  
 И молчит мавзолея недвижная стража,  
 И легенда склоняется перед людьми,  
 Как склоняем пред нею мы головы  
 наши.

Как сейчас, мы пред памятью молча  
 застыли —  
 Над былой усыпальницей Бараташвили.  
 Старый домик разрушен, развеян,  
 исчез —  
 Память общего горя, великой беды...  
 Смерчем времени столько иссушено  
 здесь,  
 Что, как жила без крови, река без воды.

Только светлый Гьоль-Гьоль серебрится,  
 Как двойник нашей гордой  
 и праздничной Рицы.  
 В лодке пятеро нас, глубь прозрачна  
 до дна:  
 Перемирие времени, духа, пространства,  
 Мир небес и земли — зелень, синь,  
 белизна —  
 И над всем голубой тишины  
 постоянство.

Неподвижность старинной мечети  
 печальной —  
 Вот он, первый твой кров и приют  
 твой печальный!  
 Этот сад городской, наш лихой тамада,

Где луна, как мтацминдская, дремлет,  
 паря, —  
 Все, как было тогда, все, как было  
 тогда,  
 В это двадцать второе число сентября!

И всегда, надо всем, выше лет,  
 в вечной силе,  
 Тень святая, тень юная Бараташвили.  
 Неотступно, за нами! Я с вами,  
 друзья! —  
 И в печали, и в радости — светлая  
 тень...  
 О, клянусь нашим братством, вовеки  
 нельзя  
 Нам забыть этот добрый, особенный  
 день.

\* \* \*

Певцу Зурабу Соткилава

Пусть хоть отсохнет рука — не беда,  
 В скалах Джвардени свалюсь калекой...  
 Пусть! Вы не плачьте по мне и тогда,  
 Вы и тогда меня не жалеите.

Нищим пойду, неизвестно куда, —  
 Вы и тогда по мне слез не лейте.  
 Бедный... Не бедный я и тогда,  
 Вы и тогда меня не жалеите.

Если оглохну в грохоте дня,  
 Жизнь замолчит — ее трубы, флейты...  
 Вы и тогда не жалеите меня,  
 Вы и тогда меня не жалеите.

Если скует меня немота,  
Взор мой заклеит туман, как пластырь,  
Вы не жалеете меня и тогда,  
Вы не зовите меня несчастным.

Но если вдруг, среди ясных дней,  
Разлюбит она — мне спасенья нету,  
И если я побегу за ней  
И не сыщу ее в мире этом,  
Тогда придите и пожалейте,  
Над самым бедным слезу пролейте.

## Снежный день

Снег идет. Давно мечтал Тбилиси  
О веселом снеге. Вот он — кружит!  
С гор несет простор и легкость высей,  
И метелью дышащую стужу.

Пусть идет мохнатый снег тбилисский,  
Быстро привыкаешь к хлопьям взглядом.  
Снег идет... Но лето где-то близко,  
Солнце и за снегом где-то рядом.

Ясени в снегу. Укрыты ветви.  
И дубы в сугробах греют корни...  
А сквозь снег фиалки рвутся к свету.  
Как стихи — отважно и упорно.

\* \* \*

О, новый день, — залог эпох,  
Земли и неба тайный вздох!

Ты сокрушение мечты,  
И воскрешенье — тоже ты.

Приди, взойди на трон и — правь,  
И будь достоин прежних слав,

Приди, укрой своим теплом  
И кровный труд, и добрый дом.

Путь ищущему укажи,  
Слабеющего поддержи,

Теплом мой древний край залей,  
Коси и сей, коси и сей...

О, новый день!.. Хорош ли, плох? —  
Ты полон тайн, как тихий вздох.

Перевод Ирины СНЕГОВОЙ

## Варазисхеви, дом 14...

Варазисхеви. На скале бесплодной  
Дом возведен — возвышенный уют.  
И люди здесь добры и благородны  
И гимны предрассветные поют.  
Беседы и неспешны, и высоки  
При взгляде на тбилисскую звезду.

И мысли, здесь рожденные, и строки  
Особую имеют красоту.  
И вырастают вместе наши дети —  
Да не коснется их вовеки зло! —  
Их крылья шелестят, и звуки эти  
В меня вливают новое тепло.  
Порой печально мне, но уповаю  
На то, что в этом чувстве нет вреда.  
Соседи, об одном вас умоляю:  
Чтоб все вы были счастливы всегда!  
...Лучистый дом, и люди в нем такие  
Лучистые, среди лучистых стен...  
Благословенны будьте, дорогие!  
Варазисхеви, будь благословен!

\* \* \*

Какой волшебник всколыхнул сперва  
Основу песни — душу человечью?  
Кто понял первым — птица, луч,  
листва? —  
Что души полны стихотворной речью?  
Быть может, лес, быть может, облака,  
Без пастуха бредущие вдоль склона,  
Вдохнули в мир неистовство стиха,  
Исполненного смеха или стога.  
Труды и пир, любовь и смертный бой,  
Мольба о вере праведной и силе  
Наполнили стихи своей судьбой  
И, словно факел, их воспламенили.  
Обида, боль, отвага бытия,  
Свист соловьев, поющих славу лету,  
И матерь-книга, азбука моя,  
Открыли стих и подарили свету.

Перевод Юрия РЯШЕНЦЕВА

## Перед бурей

— Завтра будут суровые вихри, —  
Объявило вечернее радио.  
От затишья давно мы отвыкли  
И покой безвозвратно утратили.  
Жизнь моя!

Пусть — бессонница снова,  
Пусть уже полыхнула зарница  
В безднах призрачных неба седого...  
Будь к потоку и буре готова  
До того, как гроза разразится!  
Пусть природа затеяла смуту,  
Ходит море в клокочущей пене,  
Лншь бы только ни на минуту  
Пред судьбою не встать на колени.  
Пусть скрипят и деревья, и снасти,  
Туча весь небосвод охватила, —  
Знал бы ты, что в туман и ненастье  
Все равно не погаснет светило!  
— Завтра будут суровые вихри, —  
Возвещает притихшее радио...  
От затишья давно мы отвыкли  
И покой безвозвратно утратили.

Перевод Михаила СИНЕЛЬНИКОВА



Николай АСТАХОВ

# Пять сонетов

## Весна

В пролеске за сутулою горой  
Встает луна сквозь сетку черных прутьев  
И заливаает мертвенною ртутью  
Домов и улиц молчаливый строй.

С полночи поднимается сырой,  
Тревожный ветер. Облаков лоскутья  
Над темным, отдаленным перепутьем  
Зарницей загораются порой.

Как неотвязчив душных мыслей рой.  
Я весь проникнут жизненною сутью,  
Чего-то жду и не могу заснуть я,

И слышу, как под зимнею корой  
Перебродивший сок вскипает мутью  
В пролеске за сутулою горой.

## Лето

Не шевелятся в сонной дымке зноя  
Листы акаций; и в ушах звенит  
От тишины расплавленной. Зенит  
Подернулся испариной земною.

Хребтов изгиб туманной пеленою  
На горизонте с облаками слит.  
По щебенистой осыпи петлит  
Ленивый полоз с бронзовой спиною.

А вечером от раскаленных плит  
Жар солнечный по-прежнему палит,  
Накопленный за долгий день стеною.

Закат латунью тусклою разлит,  
И травы, пряные от сухости земли,  
Не шевелятся в сонной дымке зноя.

## Осень

Прохладой веет бронзовая осень,  
И прожельть тронула зеленый куст,  
А по утрам как бы незримый груз  
Отжеляет лапы строгих сосен.

Уже в амбарах тучные колосья,  
И горизонт необозримо пуст,

И под ногами палых листьев хруст,  
В траве поникшей паутины просесть.

Я вдоль лесной опушки по покосам  
Бреду с ружьем, за ветки я берусь,  
И ели капельки янтарных бус

Смолы своей в ладони мне приносят.  
Вокруг разлита тишина и грусть;  
Прохладой веет бронзовая осень.

## Зима

Я молод, я силен, я все могу!  
Движения отчетливы и быстры,  
Со свистом лыжи высекают искры  
В пушистом и нетронutom снегу.

Река струит ленивую дугу  
Иль бьется пеной об утес ребристый.  
Взломавши лед. И пудрою искристой  
Осыпан бор на ближнем берегу.

Повсюду снег сыпучий и пушистый,  
Как будто с юга я попал в тайгу;  
Сосна мне машет лапой серебристой...

Сошла лавина. Отдаленный гул  
Прошел и замер за грядой холмистой...  
Я молод, я силен, я все могу!

## Сонет о сонетах

Прекрасна строгость мудрая сонета,  
Где мыслям не дозволен вольный крен,  
Где образы сурово взяты в плен  
И ритм диктует сдержанность поэту.

Пускай крикливой модою презрен,  
Он не сверкнет легко гасимым светом,  
Но в нем не поколеблены заветы  
Случайностями модных перемен.

И рифмой опоясанный катрен,  
Как бы созвучье скрипки и кларнета,  
Ритмичная гармония терцета —

Четверостишью плавному взамен,  
И завершение мастерства — рефрен:  
Прекрасна строгость мудрая сонета!



# ГУГУТАРЧЕЛА

●  
 Р о м а н  
 ●

Внезапно Дидкоста остановился, и тут Гугу собственными глазами увидел «стойку Квезы». «Возьми!» — приказал дядюшка Коста. Собака сделала прыжок, и... ввысь стрелой взвился перепел. Дидкоста спустил ястреба. Перепел летел над самым полем, чуть не задевая крылом кукурузные султаны, летел строго по одной линии, будто осужденный лететь все прямо и прямо. Не сворачивая ни вправо, ни влево, не взмывая вверх и не опускаясь вниз, неся он над полем с роковой точностью по абсолютно безукоризненной прямой. И уже совсем настигаемый ястребом, он ничуть не изменил направления полета. Опередив свою жертву, ястреб кинулся на нее, и они вместе камнем упали где-то вдали в кукурузную чащу... Квеза с лаем и повизгиваньем, как ошалелая, металась взад-вперед, но все безрезультатно — на след ей в этот раз напасть не удалось. Дидкоста, подзвав собаку, цыкнул на нее, чтоб она угонила, и быстро зашагал в ту сторону, откуда время от времени доносился звон бубенцов. Гугу шел следом, втайне недоумевая: ему казалось, что звон слышится совсем не с той стороны, куда спешит Дидкоста. Но слух не обманул опытного охотника: они подоспели как раз вовремя, чтоб вырвать перепела из ястребиных когтей.

— Живой он, дядюшка Коста! Посмотрите, он еще жив! — выкрикивал Гугу с искрящимися глазами.

Недолго думая, Дидкоста свернул перепелу шею, обезглавленную тушку сунул Гугу, а голову поднес ястребу, поглаживая его и ласково приговаривая: «Молодчина, молодчина, ты отличный охотник».

Совершенно обескураженный, мальчик тупо глядел на лежащую у него на ладони обезглавленную, истерзанную ястребиными когтями птаху, с крыла которой стекала кровь. «Бедненький, он еще жив!» — мелькнуло в голове у ребенка, и при этой мысли глаза его наполнились слезами. Он почему-то совсем не думал о том, что охота приводит к такому концу. «Неужели в этом и состоит вся охота?» — шептал он себе под нос, плетясь следом за дядюшкой Костой.

Квеза бежала впереди. Она хорошо брала след и ловко шныряла в высокой траве, не в силах, однако, одолеть свою страсть погонять бестолку из стороны в сторону. За это ей здорово попадало от хозяина, который ее не только бранил на чем свет стоит, но даже и бил за непослушание. Все напрасно! Присмирив на минуту, она снова принималась за свое.

Окончание. Начало в №№ 10, 11. Печатается журнальный вариант.

У мальчика пропал всякий интерес к охоте. Он с радостью воротился бы домой, если б не стыдился дядюшки Косты и не боялся его обидеть.

— Дядюшка Коста, дядюшка Коста! — внезапно позвал он, одной рукой схватившись за живот, а другую, с мертвым перепелом на ладони, протягивая перед собой.

— Что с тобой, что случилось?

— Живот схватило, дядюшка, не могу больше охотиться.

— Живот, говоришь, схватило? — с сомнением переспросил Дидкоста.

— Клянусь мамой, так болит, что дышать не могу.

— Значит, кончаем охотиться?

— Нет, вы продолжайте, а я пойду домой.

— А доберешься сам?

— Конечно, как не доберусь... — ответил мальчик, пятась задом от Дидкосты, будто из страха, что тот, подойдя поближе, разгадает его хитрость. Все еще держась за живот, он глянул напоследок на дядюшку, повернулся и, бросившись бегом, сразу скрылся в зарослях.

— Смотри не заблудись! Иди все прямоком, — крикнул ему вдогонку Дидкоста.

Долго, очень долго бежал Гугу. Ему казалось, что поле никогда не кончится, и от этой мысли делалось страшно. Он боялся сбиться с дороги. Кукурузные листья царапали ему лицо, шею, руки, ссадины жгло от стекающего струйками пота; они горели, как обожженные крапивой. Выскочив наконец из кукурузных зарослей, мальчуган, тяжело дыша, зашагал меж плетней. Из головы его все не выходил обезглавленный перепел. Не мог забыть он, с какой обреченной покорностью прикрыла птаха глаза, когда Дидкоста ухватил ее пальцами за голову. Точно знала бедняжка, что ее ждет.

Близ проселка у ручейка сгрудились ребята — они были увлечены сооружением мельницы. А Гугу был в этом деле великий знаток. Он подошел поближе, посмотрел-посмотрел и начал подавать советы и указания. Ребята слушали его со вниманием — он был постарше их.

— Вон там, повыше, надо запрудить воду, а потом по желобу пустить ее вниз, — начал было он, да не выдержал и сам спрыгнул в воду. — Когда вода падает с высоты, она имеет силу. А то иначе как же будет вращаться это ваше большущее колесо? Вы ведь настоящую мельницу видели?

Дети, довольные тем, что у них нашелся такой хороший помощник, смотрели на Гугу с разинутыми ртами. Уж кто-кто, а Гугу заставит крутиться заупрямившееся колесо. Окрыленный доверием ребят, Гугу с удовольствием принялся за дело. Шлепая босыми ногами по воде, они строили такую красивую, такую прекрасную мельницу, что лучше всамделишной! Перепел совсем вылетел у Гугу из головы. Здесь, у ручейка, кипела такая занятная, такая интересная жизнь, не то что на охоте!

Прошло немало времени, и Гугу уже решил, что Дидкоста давно перестал помнить о том, как у него внезапно разболелся живот, когда к нему явился однажды маленький Джонди. Подойдя к калитке, мальчуган крикнул, что отец зовет Гугу к себе, и тут же убежал. Гугу тотчас отправился на зов.

Дядюшка Коста оказался у себя во дворе. Он стоял вместе со своим ближайшим соседом Варламом в тени шелковичного дерева. Рядом беззаботно пощипывала траву нетель. Дидкоста держал в руках веревку, примериваясь глазом к одной из ветвей высокой шелковицы. Как только Гугу подошел к ним, Дидкоста протянул ему конец веревки и велел держать ее как можно покрепче, а сам подошел к корове, ловко опутал ей веревкой ногу и, крикнув: «Взяли!» — подскочил к Гугу и потянул вместе с ним за конец. Миг — и корова оказалась опрокинутой на землю, как вол, которого собираются подковать. Дидкоста тут же перекинул веревку через толстую ветвь и, бросив своим помощникам: «Пособите!» — рванул ее на себя. Никто из них не успел и глазом моргнуть, как животное оказалось подвешенным под деревом за одну ногу. Взяв в руки острый нож, Дидкоста со спокойной деловитостью перерезал корове горло и швырнул голову под дерево. От бьющей ручьем крови на поросшей травой земле образовались багровые лужицы. Коровья голова смотрела удивленными глазами, точно спрашивая: «Что же будет дальше?». Но удивление это постепенно угасло, и в оставшихся открытыми глазах залегла холодная печаль.

Джонди подошел к обезглавленному животному и равнодушно коснулся рукой одеревеневшей ноги. А Гугу стоял в оцепенении, не в силах отвести глаз от обильно залившей траву крови.

Варлам взял из рук Дидкосты нож и принялся его старательно затачивать, подсев к точильному камню. Освежевать корову предстояло ему — мало кто в деревне так умело справлялся с этим делом, только вот был он немного медлителен из-за своей чрезмерной аккуратности. Приступал он к делу только после того, как наточенный нож перерезал на лету волосок.

— Что, мой мальчик, не схватило у тебя опять живот? — спросил невзначай Дидкоста, повернувшись к Гугу.

Гугу от смущения залился краской.

— Что ты за мужчина, дружок, если крови боишься! В твои лета царь Ираклий уже правил Грузией! — Дидкоста схватил Гугу своими волосатыми лапищами и как следует встряхнул.

— Честное слово, у меня правда заболел живот в тот день! — пролепетал Гугу.

— Знаю, знаю, что за живот! А ты думаешь, мне не жаль скотинку? — повел Дидкоста глазами на тушу и, шагнув в сторону Варлама, который все еще правил нож, опустился рядом с ним на землю. Привалившись спиной к плетню, он закурил сигарку и снова обратился к Гугу:

— Иди-ка сюда, присядь возле меня.

— Чего ты мучишь мальчишку, чего к нему привязался! — ворчал Варлам, пробуя пальцем лезвие ножа.

Гугу продолжал стоять, потупив голову, — он не пожелал садиться рядом с дядюшкой Костой.

— Что, рассердился на меня? Добро! Поди-ка принеси мне испить водицы, и помиримся.

Мальчик обрадовался поручению и бросился на кухню за водой.

— Эх, плохо, когда парень растет без отца! Откуда взяться стали в характере, когда малец постоянно трется возле материнской юбки? Вот уж какой вымахал, а курицы не зарежет, жалостлив больно, — с усмешкой проговорил Дидкоста, обращаясь к Варламу.

— Не беда! Все придет в свое время! — ответил Варлам и, поднявшись на ноги, еще раз проверил лезвие. — Ну, будем кончать? — спросил он.

— Да-а, трудновато ему придется в жизни, — пробурчал Дидкоста.

Гугу принес в кувшине воду. Варлам приготовился тем временем свежевать тушу.

— Поди сюда, Гугу, помоги нам с Варламом, — подозвал мальчика Дидкоста. Они с Варламом осторожно ходили вокруг туши, стараясь не угодить ногами в кровь.

— Ни один из вас мне не нужен! — заявил вдруг Варлам. И в самом деле, они бы ему только помешали.

— Ну, коли так, можешь идти играть, — сказал Дидкоста Гугу и, поднеся кувшин ко рту, стал с бульканьем пить.

Как только Гугу отпустили, Джонди ухватил его за руку, и они вдвоем побежали к росшему позади дома развесистому грушевому дереву...

\* \* \*

В один прекрасный день вся Сакаландария пришла в движение, заволновалась, переполошилась: по деревне пронеслась весть, будто в небе над Белой горой видится временами серебристый ковчег. Люди по целым дням не сводили глаз с неба, но разглядеть ничего никому не удалось. Не помогли ни черные очки, ни самодельные бинокли — настоящего ни у кого под рукой не оказалось. И тогда на Белую гору отправилась экспедиция — именно отсюда увидел какой-то парень в небе серебристый ковчег. «Ну, где же твой ковчег?» — поднял его на смех сакаландариевцы. Он стал оправдываться, говорил, что хотя сейчас, правда, ничего нет, но тогда был, он совершенно явственно видел. Ему не поверили и вернулись назад ни с чем. Но дня через два прошел новый слух. На этот раз новость принес охотник. Парнишка, говорил он, не врет, только это не ковчег, а большая серебристая тарелка. Рассказывал он весьма убедительно, как это вообще свойственно охотникам, и ему поверили. И снова потянулись любопытные к Белой горе. Раньше других там побывала свободная от работы молодежь и школьники. И что бы вы думали? По их словам, они прокараулили целый день и уже под вечер, когда небо начинало темнеть, и впрямь увидели! Если до сих пор только один человек совершенно твердо утверждал, что видел в небе летающую тарелку, то теперь уже целая группа людей наблюдала в небе серебристый ковчег. Нашлись скептики, которые ничему не верили и считали, что ребята просто болтают чушь, но, в общем, число «тарелочников» и «ковчеговцев» все умножалось и умножалось. Гугу поначалу входил в число скептиков, однако со временем вся эта история не оставила равнодушным и его. И главным образом потому, что все эти ковчег и тарелки мешали ему работать — в больнице только о них и говорили. А его самого постоянно осаждали всевозможными расспросами. По деревне все более разползались самые невероятные слухи. Одни считали, что это запущенный Америкой

«спутник, другие видели в ковчеге разведывательный аппарат, третьи — инопланетный летательный снаряд.

Скорости ковчегом и тарелкой заинтересовались даже местные власти. Тогда уж и скептики потянулись к Белой горе. Каждому хотелось собственными глазами увидеть этот самый ковчег или тарелку, а может, шар, ракету.

Гугу присоединился к «ковчеговцам» и «тарелочникам» как раз в тот момент, когда к подножью горы подкатил на своем дребезжащем «виллисе» председатель сельсовета.

На невысоком горном плато, на северном склоне Белой горы, уже собралось изрядно народу. Задрав головы, все усердно вглядывались в небо. Были тут и такие, кому это занятие уже успело прискучить, и они, расположившись на травке, баловались прихваченными из дому винцом и закуской. А кое-кого так разморило, что они, растянувшись прямо на земле, спали, прикрыв от солнца глаза локтем. Молодежь большей частью разбилась на парочки.

Когда «виллисы» въехал на подъем, кто-то крикнул: «Строитель, Строитель!». Люди на миг оторвались от неба, чтоб взглянуть в сторону машины, из которой вылез грузный, толстобрюхий человек в фуражке с длинным козырьком и враскачку направился к плато, на котором скопились наблюдатели.

— Мне сообщили по телефону, будто в небе над Сакаландарио висит какой-то ковчег. Где же этот ковчег, покажите! — обратился он ко всем вместе и, приложив ладонь к козырьку, вперил взгляд в небо.

— Там он, вот-вот появится, — показал кто-то пальцем вверх.

— Я своими глазами видел минут пять назад, — заверил председателя кто-то другой.

— То тарелка дует, то что-то вроде шара...

— Именно, именно. И то появится, то исчезнет.

— Иногда серебристое, иногда будто золотое...

— А одна раз было красное, я сама видела, — смущаясь, вставила какая-то девушка. И сразу следом за ее словами откуда-то донеслось: «Появилось! Появилось!». Все обернулись на голос. Некоторые даже бросились бегом, чтоб успеть посмотреть с того места. А в это время какой-то мальчуган выкрикнул под самым боком у председателя: «Вот, вот, появилось!». Председатель очень долго после этого напряженно всматривался в небо, а потом повел глазами вокруг себя и самым серьезным тоном заявил:

— Нет, ничего не видать. Возвращайтесь-ка лучше в деревню и займитесь своими делами.

Все подступы к Белой горе были заполнены людьми. Поглазеть на чудо пришли и жители соседних деревень. День был воскресный, и каждому хотелось отдохнуть и поразвлечься. А Гугу все сегодня действовало на нервы — его раздражали и пьяные лица, и чрезмерная развязность молодежи, и возбужденные старики, и суматошливые ребятишки.

\* \* \*

У калитки остановилась машина: из нее выскочил Гвачи.

— Гугу! — позвал он и, не дождавшись ответа, вошел во двор.

Кликнув еще разок, возле дома, Гвачи направился к кухне: дверь кухни была отперта, и он понял, что там кто-то есть.

Из кухни выглянула Анина.

— Гвачи!

— Здравствуй, Анина!

— Как дела, Гвачи? Заходи, присаживайся. Я сейчас...

Гвачи продолжал стоять у порога.

— А где остальные? — спросил он.

— Гугу пошел с утра в больницу и пока не возвращался, не знаю, куда он делся. А Гату повела Куджи поглядеть на тарелки.

— Наверное, и Гугу там?

— Да, он собирался, но ждал тебя, думал, ты отвезешь нас на машине. А возможно, и пошел.

Анина включила стоящую в углу стиральную машину. Машина заработала, и из-под крышки поползла мыльная пена. Над пылающим очагом варилось в подвешенном на цепи медном котле белье, извергая густые клубы пара. Тут же стояло похожее на ладью деревянное корыто, доверху заполненное отжимным бельем. У Анины была большая стирка. С засученными рукавами она сновала в чаду и пару между корытом и стиральной машиной, словно в замедленной съемке.

— Я сейчас выйду! — крикнула она Гвачи, и стало слышно, как стиральная машина со скрипом остановилась.

— Хочешь, и мы поедем посмотреть на эти небесные тарелки? — предложил Гвачи.

— Давай поедем! Только я немного приберусь. Очень интересно, правда? — откликнулась Анина

«Язык у меня не на привязи!» — подсадовал на себя Гвачи. Разволнованный, он не усидел на неудобной табуреточке, встал и начал прохаживаться вдоль кухни под навесом. Каждый раз, как он проходил мимо кухонной двери, перед глазами у него мелькали то чуть приоткрывшаяся грудь Анины, то сверкающие белизной икры.

«Глаз не могу оторвать!» — злился на себя Гвачи. Он вышел из-под навеса и стал водить глазами по верхушкам деревьев.

— Куда ты девался, Гвачи? — спросила Анина, выйдя из кухни и запирая за собой дверь.

«Господи, какая она красавица! Даже и в тряпье все равно красавица! Хоть поблизи посмотри, хоть издали. Да вот и сейчас — настоящая мадонна!»

— Так, задумался...

— Я только переоденусь, и поедем.

Анина поднялась по лестнице в дом, а Гвачи пошел к калитке.

Парень совсем пропадал... Ему бы бежать от Анины куда глаза глядят.

Одной-единственной из всех женщин, Аanine, Гвачи поклонялся как боже-ству. Она с самого же начала пробудила в нем чувство благоговения и молитвенного восторга. «Я б никогда не сумел подойти к ней как к женщине, — думал иногда Гвачи, глядя на Анину, — она для меня святыня». Так уж повелось с самого начала, со дня их первой встречи. Анина была для Гвачи святыней, сном наяву, сказочной мечтой.

В Тбилиси Анина, Гугу и Гвачи держались всегда вместе. Потом Гвачи уехал работать в деревню, а Гугу с Аниной отправились на север страны. Они много поездили, побывали даже за рубежом. И Гвачи был рад, что Анина от него далеко — он боялся быть с нею рядом. Но вот прошло десять лет, и они снова вместе.

В природе живет одно удивительное чувство: всякое крохотное существо — будь то дитя человеческое или звереныш — неизменно вызывает к себе нежность. Даже волчонка так и хочется взять на руки, приласкать. Он так мил, так похож на собачьего щенка. Это само провидение одарило малыша таинственной способностью очаровывать, научив все живые существа относиться к нему с нежностью. Это-то и спасает малыша. Человеку люб и медвежонок, и зайчонок, и барашек, и теленок, и всякая малая пичуга. Это и есть высшая, истинная любовь. Вот такой любовью и любил, по его собственному разумению, Гвачи Анину. Он много думал о своем чувстве, не раз спорил с самим собой и в конце концов пришел к твердому заключению: я люблю Анину не так, как любят красивую женщину, а как любят прелестного маленького ребенка. Я радуюсь ей, как радуюсь восходу солнца. Это открытие принесло Гвачи некоторое облегчение. Оправдавшись таким образом перед самим собой, он мог без угрызений совести бывать в доме у Гугу. Однако, заглянув в свою душу поглубже, он стал терзаться сомнениями. И это было настолько тяжело, что он радовался любому поводу, только б лишний раз не появиться в деревне. В этот раз он целый месяц не приезжал домой, замучив ожиданием стариков-родителей.

Наконец на балконе появилась Анина. Замкнув дверь на ключ, она стала спускаться по лестнице. Гвачи, уже сидевший в своей «Волге», увидя ее, поразился в душе происшедшей с ней внезапной метаморфозе: не более как час назад с ним возле кухни разговаривала совсем другая женщина. Теперь она была в голубых брюках и белой сорочке, свеженькая, тщательно причесанная. Он в первый раз видел ее в брюках и нашел, что они ей очень идут. Однако она так быстро уселась с ним рядом, что он даже не успел ее как следует разглядеть.

Включив мотор, Гвачи тронул машину, взяв с ходу большую скорость. Анина сидела такая напряженная, точно вот-вот собиралась совершить побег. Впрочем, она всегда держалась так — подтянуто, немного надменно.

— Сколько раз, Гвачи, я просила тебя научить меня водить машину, а ты все никак не соберешься.

— Вот сегодня я научу, я как раз целый день свободен. Как выедем на шоссе, я посажу тебя за руль, а то в этих закоулках дело не пойдет.

Машина шла по проселку.

— А куда это мы выехали?

Машина вышла на асфальтированное шоссе, ведущее к райцентру.

— Мы ведь на Белую гору едем?

— Там плохие дороги, я не рискну посадить тебя за руль. А на Белую гору поедем попозже.

— Значит, я смогу тут сесть за руль? — обрадовалась Анина и внимательно посмотрела на дорогу через ветровое стекло.



Гвачи притормозил у обочины, сошел с машины, освободив для Анины место возле руля, а сам, обойдя машину, сел на ее место и принялся объяснять:

— Это — тормоз, это — скорости, вот это — ручной тормоз.

Машина тронулась. Гвачи помог Анине выправить руль. Деревья остались позади. Они ехали теперь проселком.

Анина напряженно взглядывалась в дорогу. Ей казалось, что они едут чересчур быстро, и она поминутно говорила:

— Потихе, Гвачи, разве я могу вести на такой скорости?!

Внезапно Гвачи перехватил у нее руль и резко затормозил. Машина круто свернула и стала, уткнувшись носом в канаву. Мимо со свистом промчалась встречная «Волга».

— Ух ты! — воскликнул Гвачи. — За рулем кто-то пьяный в дым...

Анина сидела ошеломленная.

— Боже мой, неужели он мог на нас налететь?.. — проговорила она чуть слышно.

Гвачи осторожно вывел машину из канавы и снова уступил руль Анине, не снимая, однако, с него своей руки.

— Не хочу больше, поедем...

— Что, перепугалась? Ничего, скоро свернем в рощу. Там дорога ровнее и машины встречаются редко.

Анина пересела, — машину вел теперь Гвачи, — но продолжала неотрывно следить за его руками и ногами. Казалось, она полностью поглощена изучением водительского дела, а на самом деле ее просто влекло к сидящему бок о бок с ней Гвачи. В тот миг, когда он перехватил у нее руль, его сильная рука невольно скользнула по ее груди. У Анины потемнело в глазах, только в смутении она сама не отдала себе в этом отчета. И теперь она не в силах была отвести глаз от мускулистых рук Гвачи, от его сильного бедра, касавшегося ее тела. «И Гугу такой же крепкий и мускулистый, — мелькнуло у нее в голове, — у него точно такие же ноги, такие же локти, словно они сыновья одной матери, и оба настоящие Каландариа!»

Молчать стало невозможно — молчание только подчеркивало остроту близости. Молчание давило, дальше терпеть его было невыносимо. И у Анины непроизвольно сорвалось с языка:

— Почему ты не женишься, Гвачи?

Обронив эти слова, она смешалась, поняв, что думает и чувствует она одно, а говорит совсем о другом.

— Я миллион раз повторял тебе, Ан...

Он не смел взглянуть на нее. От одного шороха ее блузки у него занимался дух. В тот миг, когда локоть Гвачи коснулся груди Анины, жизнь их обоих висела на волоске. Но Гвачи понял, что не от страха занялся у него дух. И теперь снова ее грудь нет-нет касалась его плеча... Но Гвачи не желал соглашаться с тем, что происходило сейчас в машине. Он упрямо старался одолеть бесовское наваждение. Ему даже показалось, что это «Ан», вырвавшееся у него чисто подсознательно, было совершенно не к месту.

Еще несколько машин, державших путь со стороны райцентра, со свистом пронесли мимо «Волги» Гвачи. Но вот кукурузные поля кончились, и Гвачи свернул к низинам Цхенисцкали. Описав на равнине большой круг, Гвачи свернул к Белой горе. Машина въехала на подъем и пошла по-над Чхарулой. Чхарула вытекает из огромного, темного скалистого грота вверх Белой горы, в котором вечно по щиколотку стоит вода. Из этого грота речка низвергается в глубокую ямину и уж оттуда, пенясь и грохоча, несется меж высоких гор. И ниномеч ей скалистые утесы, в которых она прогрызает себе ложе. Один за другим принимает в себя речка ручейки и дождевые потоки и местами становится глубокой по колено. А уж в ливневые дни Чхарула бешено бьется о скалистые утесы, пока не находит покоя, достигнув равнины. Столетия длится эта яростная битва, поэтому и изрыта оврагами вся грудь Белой горы. Глубоко, как пропасть, ущелье Чхарулы с его сказочно крутыми берегами известно на всю Мегрелию.

По краю этой пропасти и гнал свою машину Гвачи. Выющаяся кустарником дорога, казалось, рвалась из глубин преисподней в самые небеса, и глазу не достичь было ни вершин вверх, ни дна пропасти вниз. Места эти здешние люди прозвали дебрями Белой горы. Когда-то тут и в самом деле были непроходимые леса, а теперь по склону пролегла широкая дорога.

— Эта дорога ведет в Сванети, хочешь поедем? — вдруг спросил Гвачи, взглянув на Анину.

— В Сванети? А на что нам Сванети?

Дорога выбралась из зарослей, оставила слева от себя Чхарулу и побежала скалистыми теснинами. Они взобрались на крутой подъем, потом ринулись под гору и, обогнув какой-то пригорок, покатали меж зеленых холмов. В окно машины ворвался людской говор, слышались звонкие молодые голоса.

— Останови машину. Слышишь, голоса! — сказала Анина Гвачи.

— Они тут поблизости, нужно только обогнуть холм.

Шум то слышался, то смолкал. Анина выглянула в окно и стала всматриваться вдаль.

— Они вон там, — показала она на сгрудившийся на плато народ.

Гвачи поехал медленнее и тоже высунулся в окно.

— Мы, кажется, сбились с пути, Анина. Отсюда до этого плато не доберешься, — говорил Гвачи, снова замедляя ход и продолжая глядеть в окно. — Теперь мы начали удаляться. Надо было ехать другой дорогой.

— Тогда будем возвращаться, куда же мы едем?

— А на ковчег не посмотрим?

— Не знаю. Ты ведь сам сказал, что мы сбились с пути.

— Но с этой горы можно так же понаблюдать, как и с той. Не все ли равно!

Гвачи съехал на полянку. На ней, как три плакальщицы с распушенными волосами, стояли три эвкалипта. Анина сошла с машины. Гвачи, поставив машину на ровном месте под деревьями, заглушил мотор и тоже вышел. Звук захлопнувшейся дверцы отдался в горах пушечным выстрелом.

— И отсюда будет прекрасно видно, — сказал он, поглядев вверх.

Небо было ясное-ясное, без единого облачка. Солнце уже заходило, со Сираясь вот-вот спрятаться за горы.

— Хочешь взберемся на тот холм, оттуда, может, будет виднее? — предложил Гвачи.

— Давай! — обрадовалась Анина и первой пустилась вверх по склону. Гвачи последовал за ней. Она шла, чуть подавшись корпусом вперед, и бедра ее обрисовывались особенно четко под тщательно отутюженными голубыми брюками. Она была в туфельках на низких каблучках, которые казались Гвачи удивительно хорошенькими. На самом же деле это ступня у Анины была удивительно тонкая и красивая, а в самих туфельках ничего особенно привлекательного не было, кроме разве пестрого бантика. Они шли бок о бок по густо-зеленому травянистому ковру. Временами Анина поглядывала вверх, на глаз прикидывая расстояние до верхушки холма. Гвачи молча вышагивал с ней рядом. Внезапно она остановилась, сняла туфельку и, стоя на одной ноге, стала ее вытряхивать. Она была без чулок, и когда ее босая ступня случайно коснулась травы, у нее само собой вырвался «ай!» — видимо, ногу ей цапнула какая-то колючка. Она поставила босую ногу на обутую и, походя на стоящего на одной ноге журавля, вновь принялась вытряхивать туфельку. Гвачи совсем потерял голову, на него словно напустили дурмана. И вдруг он решил — решил на то, мысль о чем уже давно мучила его рассудок. Это было страшное, вероломное и вместе с тем непоколебимое решение. Страшным оно было по своим последствиям. вероломным — потому что касалось самого близкого друга, а непоколебимым — потому что его ничто не могло изменить. Подхватив Анину на руки, Гвачи бережно прижал ее к своей груди. Первым неосознанным побуждением Анины было поскорее вырваться, и она яростно заболтала ногами, которые одни только оставались у нее свободными, да и то только ниже колен. Одну из ее рук Гвачи крепко прижимал вместе с телом к своей груди, а другую сграбастал широкой, как весло, ладонью. И стоило ей только шевельнуться, как он еще сильнее прижимал ее к себе.

— Что ты, Гвачи! — воскликнула Анина.

— Я на руках подниму тебя в гору, ты устала, — бормотал он, все ускоряя шаг.

— Отпусти меня, поставь меня на землю! — взмолилась она.

— Не могу! Не выпущу я тебя из рук, никогда не выпущу! Кончено. Все мое терпение иссякло!

— Отпусти меня, отпусти меня! — со слезами в голосе попросила Анина и снова заболтала ногами. Ей было невыносимо сознавать свою беспомощность. и она, свесив голову набок, горько расплакалась. Она плакала с закрытыми глазами, не глядя на Гвачи, а он все шагал и шагал вверх по склону, стараясь не видеть ее лица.

...Откуда-то несся, приближаясь к Анине, черный бугай. Гугу, подтолкнув ее, крикнул: «Беги!», а сам бросился навстречу разъяренному животному. Анина побежала следом за остальными...

— Я без тебя жить не могу, — заговорил Гвачи, прервав ее мысли.

Притихшая на руках Гвачи Анина молча роняла слезы.

— Ты ведь знаешь, что я без памяти тебя люблю! — голос Гвачи вывел Анину из оцепенения. — Оставим эти места, уедем в Сванети, а хочешь — в далекую Сибирь. Только уедем... — тяжело переводя дух, говорил Гвачи, продолжая шагать в гору. — Тебе ведь известно, что я до сих пор совсем один. Все дороги мои ведут к тебе. Я думал, что смогу побороть свою любовь, что смогу совладать с собой ради Гугу... Господи, мне казалось, что ради него я способен на

все! Теперь все кончено. Теперь, скажешь ли ты «да» или скажешь «нет», все равно он для меня потерян. Я изменил ему, хотя и знал, что Гугу изменить нельзя... Анина, Ани! — неожиданно вскричал Гвачи и осторожно встряхнул плечи, чувствуя женщину.

— Анина, Анина, пощади меня, Анина!.. — весь сотрясаясь, молил Гвачи, приподняв ее на руках.

Внезапно оба громко разрыдались.

Это были слезы грехопадения.

Гвачи медленно опустился на колени, бережно положил Анину на траву и стал, как безумный, ее целовать... На Белую гору спускались сумерки.

Было уже совсем темно, когда Анина вернулась домой. Быстро взбежала она по лестнице, распахнула дверь в зал и оробела, смешалась, увидя сидящего в кресле Гугу. «Он все знает!» — почему-то промелькнуло у нее в голове. «Почему он в зале один и почему у него такое задумчивое лицо?» Думать Гугу любил у себя в комнате, за письменным столом, или лежа в уединении под деревом в саду Гекаты. Но сегодня на лице у него была совсем другая дума, чем всегда. Бледным и измученным показался Анине муж. «Мне это только так кажется», — постаралась она успокоить себя и деловитой походкой прошла мимо Гугу в комнату к ребенку.

— Заснул? — спросила она у Тату. — А он поел что-нибудь, мама?

— Плохо поел, доченька. Мы с Гугу просто извелись. Не любит он молоко, что ты с ним будешь делать! Одно яичко только съел.

— Замучились, значит?

— Ничего. Я стала сказывать ему сказку, и он заснул. А ты где была, нана? Твой муж что-то не в настроении.

— Ко мне никто не приходил? — увильнула от ответа Анина.

— К тебе нет, а к Гугу привезли тяжелобольного.

— Кого, интересно?

— Не из нашей деревни. Гугу же дома, спроси его сама, нана.

Продолжая перешептываться, Тату и Анина вышли в зал.

— Кто был? — спросила Анина мужа.

Гугу ничего не ответил, только скользнул по ней отчужденным взглядом.

— Что с тобой, что случилось? — холодно спросила она, но снова не получила никакого ответа и, почуввав недоброе, на цыпочках вышла вон.

В этот вечер Гугу так и не обмолвился ни единым словом. Наутро он, как обычно, пошел на работу, но и там Анине не удалось с ним поговорить. А вечером, когда они вернулись домой, Гугу опять опустился в кресло и ушел в свои мысли.

Зал был самой необжитой комнатой в доме: семья проводила дни на кухне или в столовой, а в зале Анина и Гугу только принимали больных.

Анина все еще не могла понять, знает ли что-нибудь Гугу или он просто недоволен, что она, не спросив, отправилась на Белую гору, а может, что поехала с Гвачи на машине одна? «Про случившееся он, безусловно, не может знать», — решила она и поэтому предпочла до времени отмалчиваться.

Гугу всегда был предан своему делу, а уж теперь он с головой ушел в работу. Днем и ночью его можно было видеть в больнице. Только эти бесконечные заботы и труды и приносили ему облегчение. Домой его совершенно не тянуло. Возвращался он далеко за полночь, усаживался в любимое кресло и уходил в себя. А когда его окончательно смаривало, валился на тахту и мигом засыпал.

Для Анины это было очень тяжелое время, она не знала, что делать, как вести себя. Иногда она решала: пойду и все расскажу, но никак не могла на это отважиться. Часами лежала она возле Куджи в ожидании мужа, но Гугу и не глядел в сторону той комнаты. Он предупредил мать: всех больных отсылай в больницу, дома я никого принимать не буду.

Жить в размолвке было тягостно. «Свою вину мне и искупать», — решила Анина и однажды, когда Куджи уже уснул, а Тату отправилась к себе на кухню, она поднялась с постели и, как была, в одной ночной сорочке, приоткрыла дверь в зал.

В комнате горела люстра, и в ее слепящем свете Гугу казался особенно бледным; высокий лоб под разделенными на пробор волосами и давно не бритые щеки придавали его лицу неизъяснимую одухотворенность. Босая, растрепанная, в коротенькой ночной сорочке, Анина была похожа на русалку.

— Не входи! — заставил ее застыть на месте холодный и властный оклик.

— Гугу, молю тебя, выслушай...

— Ничего не желаю слушать!

— Прости, Гугу, — вырвалось у нее из глубины сердца, и она, заплакав, потянулась к нему.

— Скажи мне всю правду, и я тебя прощу.

Анина сделала шаг в его сторону, но он, оставаясь поразительно непреклонным, сурово ее остановил:

— Не приближайся! Опустись там же на колени и все мне расскажи!

Анина, с трудом совладав с собой, опустилась на колени. Слезы текли у нее по щекам и соединялись под подбородком.

— Довольно, Гугу! Заклинаю тебя нашим Куджи! Я свое уже отстрадала. Будь мужчиной и, если можешь, прости! А нет, так... — Ее начала бить нервная дрожь, и она в бессилии осела на пол. — Откуда ты узнал? — подняла она на мужа полные смятения и ужаса глаза и, рухнув в изнеможении ничком, забилась в иступленных рыданиях.

Гугу поднялся с места и стал над ней. В сердце его заговорила жалость.

— Будет тебе, вставай!.. — мягко сказал он, коснувшись рукой ее спины, отвернулся и пошел к двери.

Всю эту ночь до рассвета он пробродил по деревне, а вернувшись, снова вошел в гостиную, прилетел на тахту и мгновенно уснул.

У Гугу было трое больных стариков. В деревне о них давно уже поговаривали, что они-де испускают дух, но и их Гугу не уступал смерти. Один из стариков — Партку Каландариа — лежал в больнице. Ему стало лучше, и он даже понемногу поднимался. Гугу ежедневно всех их навещал.

Теперь Гугу подолгу засиживался у своих стариков, гораздо дольше, чем раньше. Закончив свой рабочий день, он шел прямо к ним, и если за это время кто из больных являлся к нему домой, Анина велела всем приходиться завтра в больницу. В случае же экстренной надобности врача разыскивали по деревне, переходя из дома в дом.

Гугу простил свою жену, простил совсем, как будто ничего и не было. Они, как и раньше, вместе ходили в больницу, вместе, облачившись в белые халаты, навещали при необходимости к тяжелобольным. Как и прежде, Гугу произносил имя жены с благоговением, но ей это «Ан» резало уши — какими-то не теми, как раньше, нотами звучало оно теперь.

Анина была как будто бы счастлива — муж по-старому любил ее до безумия. И все-таки в их отношениях что-то изменилось. Гугу ночами не спалось, и он не давал спать Анине. Он обнимал ее с такой горячностью, будто их ждала разлука навсегда.

— Я, кажется, еще сильнее полюбил тебя, Ан, — страстно шептал он.

Анине не нравилось слово «сильнее» — значит, Гугу все еще не забыл!

Гвачи бесследно исчез, словно сквозь землю провалился. Он совсем перестал появляться в деревне и ни разу, хотя бы мельком, не попался Гугу на глаза. Гугу это раздражало. Он, правда, и сам не знал, хотелось ли ему встретиться с Гвачи, но вместе с тем все время ждал этой встречи. Поначалу он твердо решил никогда не вспоминать об измене Анины, чтоб раз и навсегда очистить сердце от накипевшей горечи, и одно время почти поверил, что ему это удалось — он не только не говорил, но как будто и не думал о случившемся и даже был, казалось, по-прежнему счастлив. Но вскоре он понял, что это не более как самообман. После этого он решил не обманывать больше самого себя, дал волю своим чувствам и мыслям, но крепко-накрепко замкнул их внутри самого себя, чтоб и капля не выплеснулась наружу. В надежде развеяться он как-то однажды напился. Напился и на второй день, и на третий. Целую неделю подряд он возвращался домой пьяный. Анина прекрасно знала, что такая жизнь совсем не по ней, да к тому же разве могли себе представить она или сам Гугу врача-пьяницу! Каждую минуту ждала она, что с языка мужа сорвется что-то ужасное, со страхом заглядывала ему в глаза, не знала, как угодить. Даже Тату начала что-то подозревать. «Откройся мне, нана, — умоляла она невестку, — я ведь тоже не чужая. Надо же мне знать, что за несчастье свалилось на нашу голову!»

Однажды вечером Гугу вернулся домой трезвый и, кое-как взяв себя в руки, спокойно вошел в зал. Анина встретила его в дверях вопросом: «Что, опять пьян?». Он ничего ей не ответил, скинул пиджак и бросил его на тахту. Она направилась было к себе в комнату, но голос Гугу остановил ее:

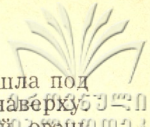
— Конечно! Завтра с утра я уйду!

— Куда? — спокойным тоном спросила Анина. Спросила просто так, чтоб только что-нибудь сказать, — она ведь прекрасно знала, что он имеет в виду.

Гугу бухнулся все в то же роковое кресло и порывисто, будто ему не хватало воздуха, рванул ворот рубахи. Отвечать жене он не торопился.

Дверь гостиной была распахнута, на дворе стояла лунная ночь.

Когда Гугу входил в калитку, Цорморти с визгом бросился ему навстречу и, добежав до середины двора, радостно запрыгал вокруг хозяина. Тату слыша-



ла у себя на кухне скрип калитки и собачье повизгивание, быстренько вышла под навес и, прикинув к столбу, стала прислушиваться, что происходит наверху. Мучимая подозрениями, она жаждала наконец узнать, что за скрытый стон бушует в ее семье. Предчувствие не обмануло ее — вскоре из зала донесся громкий разговор. Она подбежала поближе к дому, прижалась к стене и замерла в ожидании. Двор заливало белесым лунным светом, но Тату скрывала падающая от дома тень. Дул слабый ветерок, и шелковичные деревья едва слышно шелестели.

— Ненавижу, ненавижу!.. Видеть тебя не могу!

Тату еще никогда не слышала, чтоб Гугу так кричал. Она глянула в сторону калитки, не идет ли кто по дороге.

В ответ на крики Гугу громко зарыдала Анина.

— Чего ты плачешь? Как же мне прикажешь поступать, если я не могу больше с тобой жить!.. Вызови своих братьев, заведи все и уходи. Или же я уйду, а ты оставайся здесь. — Анина зарыдала еще громче.

У Тату подкашивались ноги. Она припала головой к стене и застыла в мертвенном оцепенении. «Не могу, говорит, с тобой жить! Уходи или я сам уйду! Рушится наша семья, погиб мой сын, мой несчастный сирота! Но интересно все-таки, в чем провинилась Анина?» Взору Тату почему-то представился Гвачи, но не тот Гвачи, что приходил к ним по субботам и целовал ей руку, — мальчугана Гвачи увидела перед собой Тату. Как-то раз он выбил у нее оконное стекло. Малыш метил из рогатки в птичку, но камень угодил в окно. Тату схватила палку и, выбежав во двор, пустилась вдогонку за негодником, который успел уже высочить за калитку и бежал по дороге, боязливо озираясь. Перед нею и сейчас еще стояло перепуганное мальчишеское лицо. «Неужели это ты разбил мою семью, неужели ты отравил мне старость?» — обращалась она мысленно к Гвачи.

— Завтра же! Откладывать больше невозможно! Довольно! Хватит! — Только это и сумела разобрать Тату, остальные слова унесло ветром.

«Надо пойти к ним и обо всем расспросить», — решила Тату и, с трудом переставляя ноги, потащила вверх по лестнице. Но не в ее характере было вмешиваться в дела сына, и она в самый последний момент передумала. Вернувшись в кухню, она, не зажигая огня, ощупью нашла свою постель и прилегла. Но прежде чем голова ее коснулась подушки, она вскинула руки, возвела глаза к темному потолку и горячо зашептала: «Молю тебя, святой Георгий, спаси моего Куджи от сиротства!»

На рассвете Анину и Гугу разбудили причитания Тату, которых никто в деревне не слышал с тех пор, как вернулся Гугу. В сорок первом потеряла Тату мужа и с той поры облачилась в траур. Спустя десять лет предала она земле ставшего ей вторым отцом свекра Гергебе и его тоже оплакивала многие годы. Но подрастал Гугу, и все реже стали слышны ее причитания, хотя траура она так и не сбросила. Все чувства свои, все порывы заковала она в траурную броню. Только и было где им проявиться, что на чайной плантации да на кладбище. Сакаландарио знала немало хороших сборщиц, но куда им всем было до Тату! Она будто не работала, не собирала чайный лист, а яростно мстила своей незадавшейся судьбе. В деревне говорили, что только работа и спасала Тату.

В Грузии нет числа таким женщинам в черном. О чем они печалются, о чем тоскуют, почему никогда не снимают траурных одежд? Горюют они не нагору, плачут не наплачутся, по десять-пятнадцать лет льют слезы по своим покойникам. И одно несчастье успевает настичь другое. Так и ходят грузинские женщины годами в трауре. Тату была одной из них. Трауру она предавалась с той же страстью, с какой когда-то любила.

Но вот вырос Гугу, и Тату перестала оплакивать прошлое. Новую жизнь подарил ей Гугу со своей молодой женой и сыночком. Рассталась она наконец с траурным платьем, повязала голову крапчатой косынкой.

Гугу не любил материнских слез, не мог слышать ее причитаний. И она не раз говорила ему в последнее время: «Тебе хорошо, сынок, и ты не увидишь больше, чтоб я лила слезы и причитала». И вот сегодня она нарушила свое обещание. Почувяв сердцем надвигающуюся беду, она заранее оповещала о ней деревню.

Дрожащими руками рылась Тату в чемодане, доставая оттуда одну за другой вещи, оставшиеся после покойного: гимнастерку, шапку, пояс... Каждую вещь она прижимала к груди, благоговейно касалась ее несколько раз губами и только после этого аккуратно раскладывала на тахте. «Вай, горе тебе, Але! Вай, горе мне, Але! — Все громче и громче взывала она к уснушему. — Как тебе там, бесталанный ты мой! Небось некому накормить-напоить тебя! Кто подумает о тебе, кто о тебе позаботится?» Причитания ее лились законченными

музыкальными фразами. И каждую фразу рефреном завершало горестное «вава!».

Услышав материнские причитания, Гугу вскочил и быстро оделся. Тату заметила его еще издали и запричитала громче прежнего. И Гугу сразу поняла, что она хотела этим сказать. Ведь раньше мать, чуть завидя его, моментально стихала, а тут заголосила пуще прежнего. Так выражала свой протест эта покорная и бессловесная женщина, так предостерегала она сына — одолей зло в своем сердце, не обрекай мать на муку. Гугу отлично все это понимал, однако материнские причитания нисколько не смягчили его сердце, а напротив, только еще больше ожесточили. Сердито поглядел он на плачущую мать и, молча повернувшись, пошел прочь из виноградника, думая про себя: «Не знаешь ты, мать, ничего. Ничего ты не знаешь!» Подойдя к калитке, он рывком распахнул ее и вышел за порог, впервые уходя из дому без завтрака. Железная калитка захлопнулась за ним с гулким звоном. Этот звук отрезвил Тату. Она смолкла, оставила виноградник и вышла на дорогу. Но Гугу уже как не бывало. «Пойду к Анине, — решила она, — и обо всем ее расспрошу». Быстро поднявшись по лестнице, она на балконе замедлила шаг и вошла в комнату тихонько, чтоб не разбудить ребенка. Анина лежала с закинутыми за голову руками, неотрывно глядя в потолок. Куджи безмятежно спал в своей кроватке. Тату подошла к невестке и тихо спросила:

— Что тут у вас, нана? Что случилось?

— Да так, Гугу чего-то разозлился, — холодно ответила Анина. Тон ее настолько обескуражил Тату, что она, не проронив больше ни слова, повернулась и вышла из комнаты. Кое-как дотащившись до своей кухни, она присела на тахту, достала из кармана носовой платок и, уткнувшись в него лицом, заплакала горькими, беззвучными слезами.

Гугу расстался с женой. Известие это оглушило деревню, как взрыв бомбы. Все спорили от любопытства, но толком никто ничего не знал. Развод произошел очень странно: супруги не обращались ни в суд, ни к помощи посредников. Анина заявила, что возвращаться в Тбилиси не может, и Гугу предложил ей тогда, что уйдет сам. Но и на это она тоже не согласилась: она продолжала надеяться, что все еще обойдется, что они с Гугу еще сумеют найти общий язык, а пока она решила снять для себя комнату где-нибудь в центре деревни.

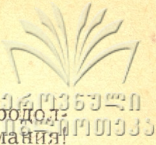
Но Гугу рассудил по-своему. Не посоветовавшись с женщинами, он прислал как-то домой две грузовые машины и с десяток проворных парней. Те живо разобрали опрятный особнячок Тату, построенный когда-то Гергебе, вывезли весь материал и слезили его на одной из полянок за околицей. Прошло еще некоторое время, и на полянке вырос заново отстроенный для Анины домик. Намекни только Гугу, и для него самого деревня с радостью выстроила бы новый дом. Но он никому ничего не сказал. Не случись неожиданного затруднения, он и вообще бы никогда не осмелился побеспокоить людей. Пока шла вся эта возня, он целую неделю где-то пропадал и подошел к своей калитке только после того, как все более или менее утряслось и Тату успела прибраться на дворе и подмести место, на котором стоял дом Гергебе.

Все книги Гугу, все его врачебные инструменты, лекарства Тату впопыхах свалила на кухне, и теперь им вдвоем понадобилась целая неделя, чтоб снова устроить для Гугу кабинет-лабораторию. В первой комнате кухни все это не уместилось, и пришлось два шкафа с книгами вынести в боковушку, где спала Тату. Там у нее стояли только тахта да небольшой столик, на котором она готовила. Там же они и обедали. Работать, как прежде, дома Гугу уже не мог и поэтому часть своих книг и инструментов перенес в больницу, где проводил теперь дни напролет, только к ночи покидая белые больничные палаты. Затем он обходил еще своих стариков и только после этого возвращался к себе на кухню. Тату встречала его всегда на ногах. Когда была жена — другое дело, а нынче, не приди он всю ночь, она бы прождала его до утра.

У Гугу теперь осталась в жизни только любимая работа. Сердце у него разрывалось на части, но он не подавал виду. Заведи мать какой разговор, он тотчас пресекал его, коротко ответив: «Просто не сошлись характером».

«Не иначе как ревность тут причиной, — предполагала Тату. — Ну и ревнив же, оказывается, мой Гугу!» Думая так, она винила во всем сына, не допуская и мысли об измене Анины. Напротив, она всем сердцем жалела невестку и бегала к ней каждую свободную минуту.

Анина безвыходно сидела дома, не выходила даже на службу. Ей было так мучительно стыдно, что она, по ее собственным словам, просто не в силах была показываться на людях. Гугу был против того, чтобы мать общалась с Аниной. Сходить привести ребенка — это понятно, а так, что может быть



теперь между ними общего? Но Тату пренебрегала запретами сына и продолжала навещать невестку и внука. Разве могла она оставить их без внимания? Частенько таскала она им тайком что-нибудь вкусненькое: это, мол, любит Куджи, а то — Анина! Напарит, нажарит, уложит все аккуратноенько в корзинку и по-воровски кукурузным полем пробирается к Анине, дрожа всю дорогу от страха попасться на глаза Гугу или кому-нибудь из соседей.

\* \* \*

В Сакаландарио бывают какие-то особенные ненастья. На лучезарно-ясное, озаренное солнцем небо невзначай набегают с Черного моря хмурые грозные тучи. Будто подвешенные между небом и землей, они медленно сползают к середине неба, бороздя престол Белой горы. И вот весь небосклон уже затянут и взята в полон вершина Белой горы. А тучи оседают все ниже и ниже, пока вся гора не растает в сизом тумане. Потемнеет, затянется мглой деревня... И вдруг небо распахнет на миг вежды, озарит мир всполохом света, следом гулкий раскат грома возвестит о начале грозы, и на землю как из ведра хлынет ливень. Хлещет и хлещет он не переставая, пока все насквозь не пропитается водой. Набухнут реки и ручейки, по сухим балкам побегут потоки, все дороги зальет водой.

А бывает, внезапно распогодится, и вновь засияет ласковое светило. Ну, а уж если солнцу не удастся сразу сбросить с себя черные тучи, то пиши пропало — непроглядно хмурое небо поливает и поливает землю нудным, надоедливым дождем. Не выйдешь ни в поле, ни в виноградник, ни на чайную плантацию. В домах начинает пахнуть прелью и сыростью, того и гляди появятся комары. И напрасно крестьяне поглядывают на небо в ожидании хоть одного погожего денька...

Но вот так же вдруг, как сорвалась непогода, приходит ей на смену ведро. Под вечер начинают краснеть края бурых дождевых туч, и дождь разом стихает. Квакают лягушки, тучи мало-помалу редуют, и на небо выходит молодой месяц с козлиными рожками. Под лягушачье кваканье отсыпается за ночь набухшая от воды земля и пробуждается поутру зажженная огненной зарей. Наступает пора погожих, красных деньков...

Заалет, зажжется восток, и так же внезапно, как перестал дождь, наступает прозрачное, сияющее утро. А месяц с козлиными рожками еще маячит некоторое время в небе, как отставший от стада ягненок.

«Месяц, месяц, молодой месяц, принеси радость моему сыну и внуку», — попросила рано поутру Тату молодой месяц. Потом пошла на кухню, разожгла очаг, водрузила над ним треножник и поставила сковородку, чтоб вовремя поспеть с завтраком — Гугу поднимался чуть свет и очень рано уходил на работу. Огонь разгорался медленно — влажные ветви акации занимались неохотно. Боясь, что дым потревожит Гугу, Тату принялась дуть в огонь. Но от этого дыму стало только больше. Гугу уже одевался. Задыхаясь от дыма, он распахнул дверь.

— Ты уже поднялся, сынок? — воскликнула Тату. — Завтрак сейчас будет.

— Я не спешу, — ответил Гугу.

Огонь наконец разгорелся, и дыму сразу стало меньше. Гугу вышел под навес и принялся колоть дрова. Тату снова что-то сказала сыну, но он не слышал.

— Что ты сказала? — переспросил он.

Тату вышла за порог кухни:

— Соседи говорят, что ни разу не видели Анины с тех пор, как она туда перебралась. Целыми днями лежит взаперти и никому не открывает.

— Знаю. Она и на службу не ходит, взяла отпуск, — ответил Гугу и снова принялся за дрова. — Ну и что же дальше?

— Оставь ты в покое этот проклятый топор, дрова у меня есть! — вскипела Тату. Она отжимала руками свежеприготовленный сыр, собираясь выложить его в деревянную форму. — А дальше то, что она молодая женщина, и бог знает, что может взбрести ей в голову!..

— Так что же? Не прикажешь ли мне сторожить ее?! Если тебе очень хочется, можешь пойти и сторожить сама, — раздраженно ответил Гугу.

— Сторожить мне ее не с руки, но не сердись и не обижайся на меня, если я ее иногда навещу.

— Знаю, знаю! Ты уже, наверно, не раз туда ходила...

— А что, разве это преступление?

— Не знаю, поступай так, как велит тебе сердце. Я вмешиваться не стану, — ответил Гугу и, положив на обрубок круглое поленце, вскинул топор и уже собирался ударить, но вдруг опустил руки и удивленно поглядел в

сторону кукурузного поля. Кто-то с шелестом пробирался в высокой, уже созревшей кукурузе. Еще минута — и из зарослей выскочил запыхавшийся, мокрый с головы до ног Гурцумия, крича на ходу:

— Доктор Гугу, доктор Гугу!..

— Что такое, что с тобой приключилось, бедняга? — откликнулся из-под навеса Гугу и, отшвырнув топор, устремился навстречу Гурцумии, который, не став искать перелазы, уже перемахнул через плетень и стремглав летел через двор.

— Гуча умирает, Гуча! — продолжал кричать он. — Чьей смерти ждали, и кто умирает!.. — При этих словах Гурцумия возвел глаза к небу.

— А что с ним, что случилось?

— Скорее, скорее, дружок, а то не поспеем, клянусь моей Татулией! Что я видел, что я видел! Что видели мои глаза!

— Что с ним, Доро, говори скорее? Что могло сделаться с этим здоровенным человеком, просто с ума можно сойти!

— Что сделалось? Умер он, умер! — закричал Доро и, сорвав с головы шалку, с силой швырнул ее оземь.

— Иду, сейчас иду, Доро! — Гугу бросился на кухню и спросил уже оттуда:

— Но все же что с ним? Что случилось? Он без сознания? Что у него болит? Найдется там кто-нибудь, чтоб сделать укол?

— Никого нет, никого! Я прямо за тобой побежал. Он сам велел, чтоб послали за тобой, что-то хотел тебе сказать. Умираю, говорит, я, умираю! Сй, братец, что я видел, что я видел! Встал он, оказывается, спозаранок, недавно, часик назад, позавтракал, потом сказал, что ему неможется, опустился на стул, зевнул, чихнул разок и свалился со стула. Так на полу и лежит... — Гурцумия составил в кружок большие и указательные пальцы и поднес их к своим глазам. — Вот такие у него глаза, и дышать не может... Видали вы такой ужас! — закончил он своей рассказ, неотрывно глядя на Тату, и крикнул на кухню Гугу: — Чьей смерти ждали, и кто умирает! Ну что, идем? Поскорее ты, поскорее...

Гугу и Гурцумия направились к калитке.

— Я сейчас же за вами! — крикнула вдогонку Тату и заскочила на кухню.

Воли домашних Гучи и его ближайших соседей подняли на ноги всю деревню. Каландария со всех сторон сбегались к дому Гучи.

Как только Гугу ступил во двор, крики стихли. Гуча был мертв, но Каландария все еще на что-то надеялись. Во всем доме толпились люди.

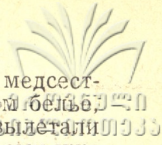
Гугу только глянул на Гучу и понял, что опоздал. И все же попытался восстановить деятельность сердца, сделал несколько уколов. Но все было напрасно. Потрясенный, растерянный, суетился он над телом, но дрожащие руки совсем его не слушались. Гуча был первым умершим из его пациентов. Родные и близкие усопшего видели, что все кончено, но ждали подтверждения из уст врача. «Хочешь не хочешь, а придется сказать», — думал Гугу. Но произнести эти слова было так тяжело, что он продолжал возиться над покойником. Люди, искушенные житейским опытом, стали выводить из комнаты близких. Заметив это, жена покойного заголосила, ее поддержали и остальные домашние, с воплями и причитаниями устремившиеся на балкон. Коки и Парте бестолково суетились по комнате, воображая, что чем-то помогают врачу. Когда поднялся крик, они устремили на Гугу полные слез вопрошающие глаза. Он молча отвел от них взгляд и, отойдя от покойника, встал в сторонке, виновато потупив голову.

Мертвенно-бледный вышел он во двор и стал поодаль от других под деревом. Двор уже заполнился народом. Потрясенные Каландария расспрашивали друг у друга о подробностях происшедшего. Перед глазами Гугу неотступно стоял Гуча — здоровый, полный сил пышноусый старик с твердым и строгим взглядом... И после смерти он остался таким же, каким был при жизни. Когда Гугу входил в зал, первое, что остановило на себе его внимание, были широко раскрытые глаза Гучи. Эти глаза заставили его содрогнуться от ужаса. Укоряюще, завистливо, гневно и удивленно смотрели они на Гугу, словно Гуча и впрямь собирался ему вот-вот что-то сказать.

Во дворе у Гучи густо стояли фруктовые деревья — яблони, груши, шелковицы. Солнце уже взошло, и листья раскинувшихся широкими зонтами шелковиц горели после дождя изумрудом. Под шелковицами кучками собирались люди. Каждый пожимал Гугу руку, будто он был близким усопшему. «Мне надо уйти», — внезапно решил он и направился к воротам, которые были широко распахнуты в ожидании тех, кто пожелает прийти оплакать покойного.

Он уже подходил к больнице, когда вдруг в ужасе вспомнил о Партку. Что говорить старику?.. Продолжая машинально двигаться вперед, он шагал и шагал до тех пор, пока ноги не привели его к палате Партку. Однако войти он





не решился, а только осторожно заглянул. Вокруг старика суетились медсестры — они пришли помочь старику одеться. Он сидел на кровати в одной белой рубашке тупо уставившись на женщин в белых халатах. Из его открытого рта вылетали какие-то глухие, похожие на стоны, нечленораздельные звуки. «Неужели ему уже сказали!» — подумал Гугу и шагнул в палату. Завидя Гугу, Партку привстал, потянулся к нему руками и забормотал сильным, срывающимся голосом:

— Гуча!.. Мой Гуча!..

Гугу обнял и крепко прижал к себе дрожащего всем телом старика, которому шамкало что-то беззубым ртом, требуя от врача ответа полными слез глазами: скажи мне, отчего умер мой сын?

— Оденьте старика, он может простудиться, — сказал Гугу фельдшерцам, с трудом высвобождаясь из цепко впившихся в него иссохших рук Партку. — Зачем вы объявили ему? Какая была в этом необходимость?! — добавил он с укором и пошел к дверям.

— Это больные сказали!... Как нам быть, доктор: брать его туда или не брать?

— Если сумеете, отведите!..

Гугу вышел из палаты, совершенно подавленный горем старого Партку. Остаться в больнице он был не в состоянии. Выйдя на дорогу, он зашагал было к дому, но тут же перерешил, почувствовав непреодолимую потребность хоть на время оставить Сакаландарио. Показалась какая-то машина, он поднял руку. Машина шла в районный центр. Гугу устроился рядом с водителем, совершенно не думая о том, куда и зачем он едет. Ему необходимо было уехать из Сакаландарио, а куда — это не имело значения.

— Вы представляете, вчера Гуча был у меня, просил привезти ему грави с Цхенисцкали, — удивлялся шофер. — Что это могло так сразу убить человека?... Неужели нет никакого средства, доктор?..

— Как нет, есть тысячи средств... — нехотя ответил Гугу: ему было не до разговоров. Но шофер не унимался:

— Что же тогда приключилось? Не подоспели, что ли?

— Именно! Не подоспели!..

«Надо же мне было встретить знакомого шофера!»

— Ну, а все же, что с ним было? У него болело что-нибудь?

— Ничего... — односложно ответил Гугу, давая понять, чтоб его оставили в покое.

Но шофер все не желал умолкнуть.

— Вот тебе жизнь человеческая! Минута, и нет. Тьфу! Будь ты герой из героев, конец у всех один... — Он медленно вел машину, нет-нет роняя свои «афоризмы».

Как только они въехали в соседнее село, Гугу оставил машину. В центре села ему попала на глаза какая-то лавка, и он забрел в нее, сам не зная для чего.

«Лавка», названная так на вывеске, оказалась чем-то вроде гастрономического магазинчика. Продавец, перевесившись через стойку, любезничал с какой-то женщиной. На полках навалом лежали дешевые конфеты, над боковой с повидлом роились мухи.

«Что мне здесь надо?» Гугу быстро повернулся, вышел из магазина и, привалившись спиной к железному перильцу перед витриной, тупо огляделся вокруг. У газетного киоска прогуливалась какая-то женщина с черным портфелем. Там же неподалеку стоял «Москвич» с откинутым капотом, оставленный ушедшим куда-то водителем. Гугу постоял-постоял, не зная, куда себя девать, — оставаться на месте было выше его сил, — и медленно побрел вдоль дороги. Не успел он миновать центр деревни, как за спиной у него послышался шум машины: у газетного киоска остановился автобус дальнего следования. Он вернулся и сел в автобус, решив проехать до ближайшей деревни. Но и там задержался ненадолго — заказал в столовой бутылку вина, один опорожнил ее, снова вышел и зашагал по дороге. Так он прослонялся из деревни в деревню до самых сумерек и только к вечеру вернулся в Сакаландарио. Но и там не нашел успокоения. Сердце не дало ему усидеть ни дома, ни в больнице. «Во дворе у Гучи сейчас вся деревня, и мне тоже следует быть там», — мелькнуло в голове. И он решительно направился туда. Во дворе усадьбы Гучи был разостлан на земле брезент — надо было ставить для поминок сепе<sup>1</sup>. Подходя к калитке, Гугу увидел Дидкосту. Тот деловито вошел во двор и присоединился к кучке шумно переговаривавшихся в стороне соседей.

<sup>1</sup> Сепе — брезентовый шатер, который разбивают во дворе, когда предстоит принять много гостей.

«Так, значит, и он здесь», — подумал Гугу и приостановился возле изгороди, медля входить во двор. Некоторое время он наблюдал за Дидкостой, ведь ему было известно, что тот в споре со всей этой семьей, за исключением старого Партку.

Дидкоста подошел к Партку и Коки и, сказав им что-то, повел обоих к месту, где Каландариа натягивали сепе — видно, ему было доверено руководить этим делом.

Гугу собственными глазами видел, как Дидкоста разговаривал с Коки. «Значит, они помирились!» — подумал он, испытывая радость от этой мысли.

Пройдя в калитку, он вместо приветствия тихо обратился к хлопотавшим во дворе Каландариа с традиционной в таких случаях фразой: «Видеть вас в радости». Все в ответ молча кивнуло головой. Поднявшись по лестнице на балкон, он заглянул в комнату, где стоял гроб с телом Гучи, потом прошел вдоль расставленных по стенам стульев, присел в уголке и, опершись на перила, поглядывал во двор. Гурцумиа тащил мыть к колодцу полную корзину посуды.

«Вся деревня тут, неужели она и сегодня не придет?» — с грустью подумалось Гугу.

В зале негромко причитала Чучиа — вдова Гучи молчала, она надорвала голос. Чучиа причитала очень задушевно и очень красиво. Ей на смену вступила Тату. Гугу покорило — ему почему-то неприятно было слышать здесь материнский плач. А Тату все повышала и повышала голос, привлекая к себе постепенно внимание присутствующих. «Тату причитает! Тату причитает!» Женщины, перебиравшие на кухне зелень и перемывавшие посуду, оставив свои дела, на цыпочках поднялись на балкон и стали подходить к распахнутой двери зала. Тату говорила о своем муже, о Гуче она даже не упомянула, но причитания ее звучали такой безысходной тоской, что близкие Гучи заливались слезами.

Внезапно послышался мужской плач. Гугу привстал и заглянул в зал. Это безутешно плакал, сидя возле гроба, старый Партку. От его плача щемило сердце. Сухонький, тщедушный, Партку припал головою к гробу и казался совсем маленьким и жалким в своей черной, по-стариковски длинной чохе, в которую его обрядили как отца покойного.

Во двор с пронзительным воплем вошла женщина в черном, соучастуемая несколькими мужчинами. Из зала ей ответили такими же душераздирающими воплями. Это прибыла с гор дочь родной сестры Партку. Облаченная во все черное, она с громкими причитаниями вошла в зал, строго по ритуалу обошла всех сидящих вокруг гроба и села на свободное место.

Но вот стенания и вопли стали мало-помалу стихать, женщины подсели поближе к гробу и пшли наперебой изливаться в своих скорбных чувствах.

На балконе уже собралось изрядно народу. Но Каландариа только издали приветствовали Гугу, явно избегая заводить с ним беседу. Теперь, когда Гугу успел настолько влюбить в Анину всю деревню, что в честь нее даже нескольких новорожденных нарекли ее именем, он сам вдруг взял и оттолкнул от себя свою жену.

За что наказана Анина? Чем она могла перед ним так сильно провиниться? Изумленные Каландариа стали подозрительно коситься на своего врача. Теперь они уже не могли побалакать с ним запросто, по-домашнему, потому что тогда трудно было бы не коснуться в разговоре Анины. Гугу отлично чувствовал все это, и ему было очень неприятно. Он уже несколько раз решал уйти отсюда, но почему-то не уходил, не желая, однако, даже самому себе признаться в том, что ждет прихода Анины. Но почему, ради чего ждет?! Ведь он не любит ее, ненавидит!..

Наконец он спустился с балкона и не спеша пересек двор. В ворота то и дело въезжали машины, доставляя то одно, то другое. Завтра должны были состояться грандиозные поминки, ожидалась уйма народу. Всего было наготовлено вдоволь, теперь только оставалось честь по чести встретить и проводить гостей. Потому-то и хлопотали так усердно все мужчины и женщины Каландариа.

Гугу некоторое время издали наблюдал за этой деловитой возней. В его помощи тут, кажется, никто не нуждался. Он стоял у калитки, не зная, уходить ему или оставаться. «Почему она все-таки не пришла? — думал он. — А вдруг и вправду заболела?.. А быть может, не хочет встречаться со мной... или стыдится людей... А что если она действительно больна?» Охваченный беспокойством, он пожалел в душе Анину. «Надо простить!» — мелькнули в голове два прекрасных слова и тут же потонули, схоронились в глубинах сознания. «Видно, от Дидкосты перешло ко мне это желание прощать», — усмехнулся про себя Гугу. И, словно тучи, набегали, надвинулись мысли, затянув небосвод рас-судка...



Откуда ни возьмись среди ребят появился Куджи. Гугу радостно его оклик

нул:

- Куджи, Куджи, иди сюда!
- Оставив товарищей, Куджи бросился к отцу.
- Как ты сюда попал?
- Я пришел с бабушкой. — гордо ответил малыш.
- Пошли домой! — Взяв ребенка за руку, Гугу вывел его за ворота.
- А бабушка? — спросил мальчик.
- Бабушка пойдет сама, — успокоил его Гугу. И они зашагали к дому.
- А где мама? — спросил Гугу, как только они вышли на дорогу и оста-

лись наедине.

- Мама больна, — ответил Куджи.
- Что с ней?
- Не знаю, она лежит.

«Она больна...»

Гугу приглядывался к ребенку, и он казался ему печальным, погрустневшим.

«Знает он, все знает», — думал он, шагая рядом с сынишкой.

— Хочешь, я побегу, папочка? — внезапно спросил ребенок, устав от долгого молчания.

— Хочу, — со смехом ответил Гугу.

Мальчуган пустился бегом по пыльной дороге, остановился и побежал обратно.

«Надо простить», — снова мелькнуло в голове у Гугу. Он задумчиво шел по пыльной дороге, а Куджи махал ему издали рукой. Но Гугу не видел призывных знаков ребенка. Он медленно брел под сенью высаженных вдоль плетня высоких акаций, бессмысленно глядя куда-то вдаль.

Гугу не спалось. Он думал об Анине и Куджи. Сынишка целый день пробыл у него и совсем заговорил его своей болтовней. Вечером Тату отвела его к Анине. Куджи был уже большой мальчик, но ночью без мамы ему было бы не по себе: он привык засыпать, уткнувшись носом в материнскую грудь или хотя бы положив на нее ручонку. Он сообщил отцу, что мама ничего не ест, все время плачет и по целым дням не встает с постели. Гугу призадумался, жалю ему стало Анины. Он каялся, что под горячую руку наговорил лишнего, и старательно припоминал, взвешивал и анализировал каждое свое слово в ночь их последней ссоры.

Потеряв всякую надежду уснуть, он встал, оделся и вышел на воздух... «Надо помириться, не могу я больше выносить одиночества». Решив так, он мигом пренебрег всеми доводами самолюбия и гордости, вняв одному голосу своего сердца: «Я люблю ее...».

Вышел на дорогу. Сакаландарио спала. Одни деревенские собаки лаяли на звезды. Миновал центр деревни, не встретив живой души. Только перед столовой стоял, опершись на ружье, сторож. Увидя Гугу, он сорвал с головы шапку и почтительно поклонился.

Гугу свернул в какой-то проулок, вышел на широкий сельский проселок, открыл калитку в плетне, огораживающем кукурузное поле, и двинулся к домику Анины. На новом дворе Анины шелестело одно-единственное тутовое дерево. Под этим деревом стояла автомашина. В доме горел свет. Гугу, узнав машину, опешил, приостановился в нерешительности, не зная, что делать дальше. Потом тихо поднялся по лестнице и заглянул в окно — проверить, там ли Гвачи. Анина и Гвачи, сидя за столом, беседовали. На пустом столе стояла только пепельница. Гвачи курил сигарету. Прежде чем осознать, что видит его, Гугу почувствовал что-то похожее на злорадное удовлетворение: он, оказывается, прав перед собой и перед Аниной, голос сердца не обманул его! И это новое, не знакомое Гугу доселе чувство спасло его. Он шел обратно к дому с сознанием того, что вот мог только что совершить, но не совершил чего-то ужасного, пагубного, непоправимого.

\* \* \*

— Знаю, я не должен был сюда приходить, — едва переступив порог, сказал Гвачи и, опустив голову, остановился в дверях, — но, узнав о твоём положении, не выдержал. Возможно, подумал я, ей нужна моя помощь.

— Я ни в чьей помощи не нуждаюсь, — холодно ответила Анина.

— Может, ты хочешь уехать отсюда? Я все для тебя сделаю.

— Все для меня сделаешь? — насмешливо переспросила Анина.

Гвачи растерялся.

— Я не прошу тебя стать моей женой. Я предлагаю тебе дружбу. Ведь жизнь твоя расстроилась из-за меня. Позволь мне искупить свою вину, а ты замолк, не находя слов. Наступило молчание.

— Садись, Гвачи, — сказала Анина, чтоб рассеять возникшую неловкость. А Гвачи почудилось в ее голосе тепло. Это придало ему уверенности, он сел, достал сигареты и закурил.

Анина поставила на стол пепельницу.

— Ты прекрасно знаешь, что... — Гвачи помедлил, ему трудно было говорить, — что я люблю тебя. И я не могу оставить тебя в такую минуту одну.

— Довольно! Встань и уйди отсюда, Гвачи! — с раздражением вырвалось у Анины.

— Я уйду, но прежде разреши мне высказаться до конца.

— Говори и уходи!

— Неужели у тебя нет никаких затруднений?.. Подумай хорошенько. Ведь ты говоришь сейчас неправду! — вспыхнул в свою очередь Гвачи и в волнении поднялся с места.

— Уходи, Гвачи, уходи! — На глазах у Анины выступили слезы.

— Я чист перед самим собой. Знай, я люблю тебя и буду любить до конца своих дней. Для меня это неизменно.

— Оставь меня, бойся бога! — Анина устремила на Гвачи полные слез глаза. Но в этом ее уворе не чувствовалось ни намека на ненависть.

— Только прикажи, и я исполню любое твое желание, я уберу с дороги... — Громовым раскатом прозвучали страшные слова «уберу с дороги», на которых Гвачи осекся, недосказав начатую фразу до конца.

Анине вдруг представилось, что в ее комнате находится убийца.

«Господи, выходит, я совсем не знала Гвачи!» — подумала Анина и в страхе вскочила на ноги.

Гвачи тотчас заметил, какой ненавистью наполнились ее глаза, и, поняв, что сболтнул что-то недопустимое — Гугу не заслуживал таких угроз, — устыдился самого себя: это было с его стороны так неблагоприятно, так не по-мужски — «уберу с дороги!»

А Анина обрадовалась, что Гвачи вдруг открылся перед нею. И куда только подевались все его рыцарство, вся романтичность! Оттолкнуть от себя такого человека не стоило труда. Она решительно направилась к двери и, распахнув ее, показала Гвачи жестом: «Уходи!».

Как побитая собака, вышел Гвачи за порог Анины и потонул в темноте.

Гугу не слышал всего их разговора. Он заглянул в окно сразу после того, как Анина поставила на стол пепельницу, а Гвачи стяхнул в нее пепел и проговорил: «Ты хорошо знаешь, что...». После этих слов он приостановился, потому что ему трудно было говорить дальше. Но для Гугу и так все было ясно: он своими глазами увидел Гвачи у Анины. «Я ведь так и говорил», — заключил он и пошел вниз по лестнице. Продолжения беседы он не слышал, да оно его и не интересовало.

В ту ночь Гугу до утра просидел в том единственном кресле, которое осталось после ухода Анины. Она не взяла его, ни за что не согласилась взять.

На рассвете Гугу вывел из забытья голос матери.

— Ты что, сегодня совсем не ложишься, нана? — спросила Тату, торопливо одеваясь, — она всегда боялась, чтоб сын не поднялся раньше нее.

— Что за странный вопрос, мама! Как это — не ложишься?

— Что же тогда заставило тебя вскочить в такую рань? Или ты, как птичка, переспал на веточке?

— Не знаю, что-то рано проснулся. Ты, если хочешь, пока не вставай.

Их разделяла стена кухни, и говорили они громко.

— Мне пора. Поди, уже совсем рассвело. А вот ты, не понимаю, чего поднялся ни свет ни заря?

Гугу прикрыл за собой дверь и медленно зашагал к саду Гекаты.

Стояла предутренняя прохлада. Природа дышала росной свежестью.

Сад встретил Гугу разноголосым гомоном и шорохами... Здесь, в саду, и в низинах Чхарулы было много соловьев. Где-то вблизи щебетал дрозд, а на верхушке высокой акации выводила свои melodичные трели какая-то пестренькая, будто нарочно разрисованная, пичуга. Оркестр кузнечиков старательно выводил что-то свое, не желая слушать пернатых солистов.

Войдя в сад, Гугу громко хлопнул в ладоши. Шум на какое-то мгновение стих, но тут же протяжно запищали зяблики и желтогрудки, призывая своих птенцов. Их незамедлительно поддержали сверчки. Сначала подал голос один какой-то смельчак, пристроившийся где-то на ореховом дереве, а следом заведущие и остальные. И сад снова зашумел на тысячу ладов.

Настроение у Гугу улучшилось, в сердце его будто заглянуло солнышко. Внезапно из папоротника выскочил весь мокрый от росы Цорморти и радостно приветствовал своего хозяина. Шерсть на его брюхе свисала свалывшимися прядями. Пес растянулся у хозяйских ног и завилал хвостом.

Гугу двинулся вниз по склону. Спустившись к Чхаруле, он умылся ледяной водой, вытер мокрые руки о волосы и, присев на большой валун, стал слушать, как шумит речка. Примчавшийся следом за ним Цорморти сунул нос в воду, с громким причмокиванием напился и усталился на хозяина, как бы спрашивая: ну, а дальше что будем делать? Гугу подозвал к себе собаку и погладил ее по спине. Цорморти, разомлев от ласки, положил голову на колени хозяина и прикрыл от наслаждения глаза.

Послышались людские голоса. Гугу поднялся с камня и стал выбираться из оврага.

Гугу провел мучительный день. Только под вечер, когда где-то поблизости послышались крики, он вспомнил, что сегодня хоронят Гучу и он должен быть там...

Он поднялся, глянул в кухонное оконце. По дороге с воплями и причитаниями двигалась похоронная процессия.

Он быстро оделся и вышел во двор. «Сколько, однако, времени прошло, а я все думал и думал...» Он глянул на заходящее солнце и, выйдя на дорогу, последовал за медленно идущей процессией.

На кладбище все стали собираться вокруг могилы Гучи. Гроб поставили на краю могилы, вырытой в их семейной ограде.

Выбрав удобное место, Гугу заглянул в глубь свежевырытой могилы. Должно быть, ее пришлось рыть очень осторожно, чтоб не потревожить лопатой костей покоящихся в земле предков. В таких случаях могила бывает неглубокой и узкой и вызывает своим видом особенно щемящее чувство. Так было и на сей раз, потому что Гучу хоронили над погребенными ранее покойниками. Глянув на эту мрачную юдоль скорби, каждый поспешно отходил, горестно покачивая головой.

Началось прощание, и все родственники стояли близ могилы, терпеливо дожидаясь своей очереди. Женщин невозможно было оторвать от гроба.

Вдруг до Гугу долетел материнский голос. Тату, став в головах могилы Гергебе, громко причитала, прижимая к груди руки. Гугу направился в ее сторону. Впереди него пробирался Доро — он, видно, шел послушать Тату. У подножия старого клена стоял, скрестив на груди руки, Дидкоста, напряженно вслушиваясь в скорбные мелодии мегрельских плачей, а чуть подальше Гугу приметил Гвачи, и у него на миг помутилось в глазах.

Гугу решительно направился к кладбищенским воротам. Вслед ему неслись материнские причитания.

Гугу одиноко шагал по дороге, а доносившиеся с кладбища вопли и стонания делали еще невыносимее навалившиеся на него печаль и тоску.

\* \* \*

Тату приготовила завтрак, и Гугу, хотя ему ничего не лезло в горло, проглотил стакан молока, а потом, сказав матери, что у него на целый день работа, заперся у себя в «комнате». Он лежал и думал. Только к полудню он слегка забылся сном, и тут его разбудил голос Тату:

— Доставили больного, выйди, нана!

— Скажи, чтоб отвезли в больницу, я сейчас же там буду.

У ворот стояла машина. Вышедший из нее человек ждал у калитки. Тату подошла к нему с извинениями:

— Для меня хуже смерти, батона, что я должна вам отказать. Но у нас нет подходящего помещения, ведь на кухне больного не примешь. Вам придется проехать в больницу, сын вас нагонит. Он теперь принимает в больнице. Прошу прощенья. Он только переоденется и сейчас же следом за вами... Прошу прощенья...

— Как же это так! Нам говорили, что доктор принимает дома, а то бы мы сразу пошли в больницу.

— Правда, правда, сынок, у него был домашний прием, но теперь... — Тату обернулась и указала рукой на место, где еще виднелись следы разобранного дома, — теперь нет.

Незнакомец сел в машину и отъехал. Тату вернулась в комнату.

— Что такое, мама? У тебя такое лицо, точно ты сама готова была уехать с этими людьми.

— Эх, не годится так, сынок! Бог знает, откуда эти люди шли, а у тебя нет приема.



— Это дома у меня нет, а не приема. Не все ли равно, где принимать дома или в больнице?

— Нет, не все равно! Домашний прием — совсем другое дело.

— Ничего, мама, пусть это тебя не тревожит.

Гугу переоделся и пошел в больницу.

У больного оказалась обыкновенная простуда. Он жаловался на общее недомогание, жар, потерю аппетита. Гугу выписал необходимые лекарства и успокоил близких: не тревожьтесь, он скоро будет здоров.

В больнице Гугу оставался недолго, заглянул только в палату Партку Каландариа. Смерть Гучи приблизила старика к могиле. Со дня похорон сына он ни разу не поднялся с постели, все время лежал молча, отвернувшись лицом к стене.

— Спит он, доктор, — сказала сестра, — целый день, с самого утра.

— Ед что-нибудь?

— Утром поел немного.

— Когда проснется, измерьте давление и, если что, сообщите.

Гугу на цыпочках вышел из палаты и, покинув больницу, направился к дому. Стоило ему только остаться одному, как перед ним тотчас возникала картина той ночи, когда он решил навестить Анину. «Надо было войти и обоих...» Как всегда спокойный и невозмутимый с виду, он медленно ступал по дороге, а в глубине его гордого, непримиримого сердца бушевал испепеляющий огонь.

Матери дома не оказалось, и он решил запереться у себя и поспать. Но сон не шел к нему. «Неужели я и в эту ночь не усну?» — в страхе думал он, зная, с чем связана для него бессонница. Но не только одну эту ночь, он не сомкнул глаз трое суток подряд. Сказавшись больным, он не вставал с постели, надеясь, что ему удастся хоть ненадолго забыться сном. Все тело зудело у него, как у чесоточного. А на пятые сутки выступила сыпь. Тогда с перепугу он кликнул мать и, высунув из-под одеяла голову, кое-как нацарапал рецепт.

— Я позову врача, — просила Тату, — ведь со стороны всегда виднее.

— Никакой врач не нужен, мама. Ты только принеси из аптеки лекарство. Мне просто немного не по себе, и еще простуда прицепилась. Завтра я буду здоров.

На второй день ему действительно полегчало, но он не поднялся, продолжая оставаться наедине со своими мыслями. А думал он все об одном и том же — об измене. Почему, почему Анина ему изменила?

Вечерело. Тату выпустила во двор корову, когда Гугу вышел из комнаты. Она удивилась, увидев сына на ногах.

— Поднялся, нана? Ну и слава богу! Только куда это ты собрался на ночь глядя? Не простудись.

— Я тут неподалеку, скоро вернусь, — ответил Гугу и отошел от калитки. Все внутри у него дрожало, ноги не шли, в голове стоял адский шум. «Плохо мне, — думал он, — плохо!»

Подойдя к дому Гвачи, он поднялся на холмик и заглянул во двор старинной усадьбы Григола Каландариа.

И отец Гвачи, Григол, и дед, Тотиа, были известными на всю Мегрелию адвокатами. А Тотиа был к тому же одним из первых адвокатов-грузин во всем Сенакском уезде. Сын и внук последовали примеру Тотии. Они изучили юриспруденцию и вернулись в Мегрелию защитниками правды. Тотии уже нет в живых, а Григол в последнее время стал прихварывать — его беспокоит ревматизм. Со времени приезда Гвачи он оставил службу и перешел на пенсию. Днем он с удовольствием посиживает вместе со своей престарелой супругой в кружевной тени орехового дерева, а перед заходом солнца гонит корову пощипать травку где-нибудь на меже. Семья Тотии в деревне самая состоятельная. И дом Тотии самый большой на всю деревню, и двор самый просторный. А главным украшением усадьбы является высокая, округло ведущая вверх, на второй этаж, лестница, которую внизу сторожат две жар-птицы с разверстыми клювами. В свое время на эту лестницу даже приезжали полюбоваться из соседних деревень. Ну, а теперь, правда, эта лестница уже никого не удивляет — многие понастроили себе двухэтажные дома и такие же лестницы с жар-птицами.

Гугу, стоя на холме, наблюдал за усадьбой Григола Каландариа — ему хотелось узнать, приехал ли Гвачи. Машина Гвачи стояла во дворе. «Видимо, приехал», — решил Гугу и кинулся вниз по спуску. В голове его мельтешила одна и та же невероятнейшая мысль.

Когда он вернулся домой, Тату уговорила его выпить чаю. Он с трудом принял у нее стакан — рука у него дрожала, как у пьяницы. Ему было вовсе не до чая, но в угоду матери пришлось уступить.

В ожидании, пока уляжется мать, он долго слонялся по комнате из угла в угол, притворяясь, что ищет книги. Будто собирался ночью поработать. Потом наконец лег сам и притих, уставившись в покрытые копотью кухонные балки.

ми стропила. А когда подошла полночь, осторожно поднялся, заглянул в боковую — уснула ли Тату? — и вышел на цыпочках под кухонный навес.

Там он машинально нащупал на полке топор, почему-то взял его в руки и удивленно воззрился на поблескивающее в слабом свете луны лезвие. Правда, его уже долгое время преследовала мысль о мести, но он никогда не думал, что возьмется за топор, и вот теперь, только что, это случилось, случилось каким-то чудом, само собой. На длинной полке вдоль кухонной стены под навесом были сложены топоры, серпы, пилы, лопаты, тяпки и всякие другие инструменты, а не будь этой полки перед кухней, Гугу, верно, никогда бы и не вспомнил о топоре. Он просто прошелся мимо этой полки, а на ней были сложены инструменты, и рука машинально потянулась... к топору. И вот теперь, из-за этого топора, все в голове у него перемешалось.

Сначала он подержал топор в вытянутой руке, как штык, затем медленно вскинул над головой. Но зачем вскинул, для чего? Что нашло на него этой ночью? Почему он стоял здесь с занесенным над головой топором? И на кого собирался обрушить его удар?! Погляди сейчас кто издали на Гугу Каландариа, он, долговязый, с поднятым над головой топором, показался бы просто смешным. Такое находит на человека не часто, а раз уж нашло, значит, человек перестал управлять собой. Вдруг Гугу почему-то с силой опустил занесенный топор, и лезвие его мягко вошло в утрамбованный земляной пол. Он присел на корточки возле торчащего из земли топорика и призадумался. Но оказалось, что думать он был не в состоянии. Он не мог довести до конца ни единой мысли... Это было то крайнее возбуждение, когда мысли безудержно распыляются, утрачивая всякую конкретность. Наконец он выдернул топор из земли, осторожно счистил с лезвия приставшую землю и пошел к колодезю, на срубе которого еще со времен Гергебе лежал точильный камень; подсел к этому камню и принялся так старательно вострить лезвие, будто тупым топором не рассечь человеческой головы. Но к чему была вся эта возня? Сколь бессмысленно было вонзать топор в землю, столь же бессмысленно было его и натачивать. Однако это занятие, кажется, помогало Гугу сосредоточиться. Вода лезвием по точильному камню, он старался тем временем собраться с мыслями, обрести самого себя...

...Гугу Каландариа, пошатываясь, плетется по дороге. В руках у него, как букет, завернутый в газету топор. Он несет его просто так, бог знает, для чего. Но вот и старинная усадьба адвоката Каландариа. Гугу осторожно приоткрывает калитку, входит во двор. На балконе горит электрическая лампочка, и весь двор хорошо освещен.

Гугу одним духом взбегает по широкой лестнице и стучится в переднюю комнату — тут спит Гвачи. Дверь открывается, и на пороге в одном белье появляется Гвачи. «Иуда!» — шепчет Гугу и...

Под каждым новым порывом пронизывающего ветра с акаций и шелковиц, срываясь, словно стаи птиц, опадают желтые листья. Долго и плавно кружат они в воздухе, освещенные лунным светом, и бесшумно оседают на землю, ковром застывая двор. Временами ветер налетает с такой силой, что начинает тарыхтеть опущенное в колодезный сруб порожнее ведро.

Гугу проводил большим пальцем по лезвию топора и снова принимался точить. И кто знает, не таится ли под этой затянувшейся упрямой возней с топором подсознательное желание избежать рокового шага... Но самому-то Гугу казалось, что он исполнен жажды мести и что эту жажду можно вытравить из него только вместе с кровью. Он точил и точил топор, неотступно думая: «Убью!».

«Убью! — шептал он в остервенении. — Непременно, во что бы то ни стало убью!»

Когда наконец с точкой топора было покончено, Гугу на цыпочках вернулся в кухню, вынес газеты, в самом деле завернул топор, как букет, и быстрыми шагами направился к калитке. Миновав двор, он отворил калитку и вышел на дорогу. Обуянный страстью, смятенный, он шел неровной, тяжелой поступью, словно взбираясь на крутую гору. «Я ни на что не гождусь в таком состоянии», — на миг вспыхнуло в мозгу, и он приостановился, чтоб хоть немного прийти в себя. Сердце у него вовсю колотилось, по телу пробегал озноб. «Убью!» — снова полыхнуло в сознании. И слово это разом стерло все остальные слова, все мысли и, выступив, как предводитель, вперед, повело Гугу за собой, к калитке оскорбителя.

Гугу Каландариа проглотила непроглядная тьма, он шел, не видя ничего вокруг, ведомый единственным словом «убью!».

Он долго простоял в оцепенении перед калиткой Гвачи, воспринимая все окружающее как во сне. Он не чуял ни земли под ногами, ни лунной ночи, ни

ветра, хлещущего в лицо, — ничего вовне для него более не существовало, он мог сейчас только открыв калитку адвоката Каландариа, взбежать по высокой лестнице и постучаться в комнату Гвачи. Только этот отрезок пути — от калитки до комнаты Гвачи — был освещен, все остальное, весь мир потонуло во тьме. И Гугу должен был одолеть этот освещенный отрезок. Он открыл калитку и вошел во двор. Что-то метнулось из темноты. «Собака!» Из его памяти совершенно выскользнуло, что у Григола Каландариа есть собака по кличке Тарзан, он ни разу не вспомнил о ней, когда готовил свой план убийства. И вот теперь эта собака пулей подлетела к калитке. Гугу опешил. Его пронял страх при мысли, что собаку придется убить. Но не успел он подумать об этом, как Тарзан обежал вокруг него, тонко звизгнув, бросился в сторону дома, потом обратно, ему навстречу, и, растянувшись на земле, дробно забил хвостом, признав в Гугу своего. «Узнала! — думал Гугу, не своя с собаки глаз. — Интересно, откуда она меня знает? Должно быть, видела вместе с Гвачи. Но разве я ходил в этот дом? Почему она меня так встречает!..» Тарзан совсем сбил Гугу с панталыку, и он продолжал свой путь к лестнице уже в силу одной инерции. Он неверными шагами поднялся по лестнице; дойдя до последней ступеньки, тяжело облокотился о перила, а потом устало присел, положил топор между ног и затих, погрузившись в странную белесую мглу, будто канув в белую преисподнюю.

Над двором Григола Каландариа сияла луна. Под ветром маячили длинные тени деревьев. На лестнице без единой мысли в голове сидел Гугу Каландариа. Всю ночь просидел он так на холодной каменной лестнице, уставившись пустыми глазами в ночь. А Тарзан все смотрел и смотрел на подозрительно молчаливого гостя. Потом собака обежала двор, проверила, не появилась ли еще кто-нибудь, и села рядом. А когда начало светать и она разглядела лицо своего соседа, то оно ей не понравилось, это безумное лицо, и она залаяла.

Собачий лай напугал Гугу. Он вскочил, сбежал по лестнице и помчался к калитке. Тарзан с лаем бросился следом.

Гугу вихрем несся по дороге к дому. Ему казалось, что он убил Гвачи и его преследуют. Пиджак он накинул на голову, решив таким образом спрятаться от людей. Бедняга лишился рассудка в тот самый момент, когда ступил на верхнюю ступеньку лестницы. С того времени он и канул в белую преисподнюю и бежал сейчас в обступившей его со всех сторон бескрайней мертвенной белизне. Домой он вошел, дрожа с головы до ног.

Тату сразу поняла, что с сыном творится неладное.

— Где ты был, нана? Что с тобой, что случилось? — заметалась она по кухне.

Гугу раздевался, собираясь лечь.

— Дай я попарю тебе ноги, это хорошо, нана.

Гугу ничего не ответил. Бледный, с выкаченными глазами, он бился в приступе сильнейшей лихорадки.

Тату принесла три одеяла, и он зарылся в них с головой.

С наступлением ночи Гугу высунул голову из-под одеяла, но света зажигать матери не разрешил. Тату поставила на стул возле него стакан молока, положила кусок хачапури.

— Я на минуточку зажгу свет, нана, только на минуточку...

— Не зажигай! Не зажигай! — завопил он и так размахался руками, словно его собирались убить.

Тату в смятении бросилась в другую комнату и стала наблюдать за ним в оставленную приоткрытой дверь. Гугу выпил в темноте молоко и съел хачапури. «Дай-то бог, дай-то бог!» — приговаривала мать, глядя на него издали.

В ту ночь Тату не ложилась спать. После полуночи она на какие-то минуты вздремнула, и ее разбудил лязг цепей. Она бросилась к дверям комнатки сына, но они оказались замкнутыми изнутри. Тогда она отыскала какую-то щель и заглянула в нее. В комнатке было темно, и только через окно туда проникал слабый свет луны. В этом сумеречном свете она разглядела сына. Он стоял посреди комнаты, перебирая разложенные перед ним цепи. «Интересно, на что ему цепи?...»

Эти цепи с давних пор, со времен Гергебе, валялись на чердаке вместе с зазубрившимися или переломанными в обухе топорами и тяпками, ржавыми гвоздями, прохудившимися корзинами и всякой другой рухлядью. Гугу ставил на чердаке эти цепи, обрывки проволоки, заржавленные гвозди и теперь связывал обрывки цепей и просовывал в звенья гвозди, прикрепляя их проволокой. Работал он очень старательно, сосредоточенно. «Горе мне, для чего ему эти цепи!» — подумала Тату, и как раз в это самое время Гугу, как патронташем, опоясав



свое голое тело цепью с привешенными к ней гвоздями и какими-то железками. У Тату затряслись от ужаса колени, и она с криком: «Горе твоей матери, сын мой!» — в бессилии опустилась на земляной пол. Услышав материнский голос, Гугу поспешил навесить на себя и остальные цепи — одни на шею, другие на плечи — и юркнул в постель.

Тату теперь все стало ясно. Царапая в кровь лицо и грудь, она с рыданиями бросилась к его комнате.

— Открой, нана! Слышишь? Открой! — кричала она, колотя руками в дверь.

Но Гугу не подавал признаков жизни.

— Если ты хоть немного меня любишь, открой, открой сейчас же! Пожалей свою несчастную мать! — молила Тату со слезами. — Ты болен, нана, открой дверь! Открой, не мучь меня!

Долго молила Тату сына, долго зывала к его любви и жалости. Но все было напрасно. Гугу лежал в постели, весь опутанный цепями, не откликаясь на материнские вопли.

Оба они — и мать и сын — провели всю ночь без сна. А чуть рассвело, Тату попросила соседскую девочку отправить в Тбилиси телеграмму родственникам: «Гугу тяжело болен приезжайте немедленно».

К вечеру и до Анины дошла весть, что с Гугу плохо. Хлестал проливной дождь, но она, ни минуты не раздумывая, поручила Куджи соседям и бросилась в ночную темень. Она успела только накинуть темную шаль и прихватить зонтик. Но и от того, и от другого оказалось мало проку: она сразу промокла до ниточки.

Из глаз Анины ручьем лились слезы и, смешиваясь с дождевой водой, стекали за ворот.

В кухне, где, по ее предположению, она могла найти Тату, горел свет, а на половине Гугу было темно. Осторожно толкнув дверь, Анина заглянула в кухню. Тату сидела перед очагом, погруженная в свои думы. Увидев Анину, она тотчас поднялась и вышла под навес. Там они зашептались, перемежая разговор охами и вздохами.

— Все погибло, нана! Пропала я, совсем пропала! Хоть рви зубами собственное тело.

— Что с ним? Что случилось?

— Уже неделя как он болен...

— Это я знаю.

— Вчера ночью весь обвесился цепями и так улегся в постель.

— Так и лежит?

— Он меня к себе не впускает. А когда я спросила, для чего ему цепи, он чуть на стенку не полез. Потому и не впускает. И света не хочет. Там одно маленькое оконце, он и его завесил.

Анина утерла слезы.

— Эх, тебе-то что! Несчастный мой сын! — холодно проговорила Тату, давая понять, что виной всему Анина.

— Надо везти его в Тбилиси.

— Отвезу всюду, куда надо, отвезу, мой сын не безродный. Вот завтра подъедут родственники...

Анина вздрогнула — в словах Тату сквозило явное недовольство. «Неужели Гугу ей рассказал?»

— Перед вами я ни в чем не провинилась, нана! — мягко и почтительно проговорила она, употребив даже так любимое Тату «нана». Но мать жестко бросила ей в лицо:

— Чем же ты больше могла провиниться передо мной?

Анина опешила. Она тотчас же встала и вновь шагнула в непроглядную ночь. В этот самый момент послышался лязг цепей. Анина замерла, ей подумалось, что Гугу вышел из кухни, а на самом деле это он просто перевернулся с боку на бок на своей постели.

На другой день из Тбилиси прибыли двоюродные братья и сестры Гугу — они собрались все вместе, чтоб обсудить, что делать, что предпринять. — везти ли больного машиной или поездом, ехать ли с ними Тату и на кого тогда оставить дом, брать ли с собою в Тбилиси Анину. Гугу слышать не хотел об Анине. Стоило кому-нибудь назвать ее имя, как он тотчас забирался с головой под одеяло. Тату собралась ехать в Тбилиси — для чего, мол, мне тут оставаться, на кого смотреть. Усадьбу она поручила заботам своей племянницы — та жила в соседней деревне и приехала по вызову своей тетушки. Ей Тату поведала о болезни сына без всякой утайки, а из посторонних никто ничего толком не знал, все соседи дивились, что из Тбилиси понаехали родственники Тату, и не переставали расспрашивать друг друга. Они никак не могли понять, что приключилось с их

доктором и какая-токая на него напала хворь, что его приходится везти в Тбилиси.

341033340  
318341010333

\* \* \*

Болезнь Гугу лишила Анину последней надежды. Только теперь она по-настоящему поняла, что осталась совсем одна.

Теперь уже ей не приходилось стыдиться людей и соблюдать какие-то церемонии. Она стала — такая же нарядная и подтянутая, как и прежде, — ходить на службу, появляться в центре деревни, заглядывать в магазины. Деревня знала, что они с Гугу разошлись, но причина развода так и осталась для всех неизвестной. А тут еще болезнь Гугу и его внезапный отъезд! Каждому, конечно, хотелось повидаться с Аниной и перекинуться с ней словечком. Эта женщина была окутана для всех тайной. Но она держалась сухо и неприступно — в ней и следа не осталось от старой Анины. Она как будто всех Каландариа винила в своем несчастье. Даже те, кто стоял к ней ближе других, не осмеливались расспрашивать ее о разрыве с Гугу и о том, что же наконец с ним приключилось. Анина боялась этих расспросов, потому и держалась подалее от людей. Порой у нее даже возникала мысль — а вдруг всем уже известно, что произошло между нею и Гвачи? И все-таки односельчане продолжали по-прежнему почитать ее и любить. Как-то под вечер в дверь к ней постучались Кемесия и ее невестка Квевесихе — они притащили Анине полную корзину винограда. Стояла изобильная пора осеннего сбора. Только в усадьбе одной Анины не собирали яблок и груш, слив и винограда, не обламывали спелых початков кукурузы. У Каландариа болела душа за Анину, но они боялись ее обидеть. А вот Кемесия долго не раздумывала — взяла и притащила Анине полную корзину винограда. Анина не посмела пренебречь вниманием старухи или укорить ее за приношение. Напротив, она миллион раз ее поблагодарила и только все приговаривала: «Ах, боже мой, как же это вы, зачем вы побеспокоились!». А с легкой руки Кемесии пошло и пошло — Каландариа просто засыпала Анину своими дарами. Кто нес яблоки, кто груши, кто бутыль молодого вина или завернутый в инжирные листья пеламуши<sup>1</sup>, — ты, мол, пока новоселка, вот устройшься, обзаведешься хозяйством, тогда и сама нас побалуешь. Каждому приятно было доставить удовольствие доктору Анине, которая лечит их детей. Ведь родители всегда так любят и почитают детских врачей. К тому же во всей Сакаландариа не нашлось бы дома, куда не заглянули бы Гугу или Анина, чтоб сказать помощь кому-нибудь из членов семьи. Потому-то каждый и старался пособить Анине.

В общем, Анина оказалась в центре внимания всей деревни и вокруг нее создалась какая-то особая атмосфера, которая очень ей помогала справиться с собой и со своими трудностями...

Гугу долго продержали в Тбилиси. Его смотрели все лучшие психиатры, пробовали все новейшие методы лечения. От него буквально не отходили многочисленные друзья и коллеги. Наконец профессор заявил, что лечение закончено и теперь больной нуждается только в тишине, размеренном режиме и полном покое. Можно, сказал он, оставить больного и в больнице, но, если хотите, можно и забрать домой. Гугу повели обратно в деревню.

Сакаландариа заволновалась, пришла в движение — всем хотелось повидать Гугу. Всем хотелось, да никому не удалось. Он никого к себе не подпускал, заперся у себя на кухне. Тату уже не пыталась скрывать беду. Утаивать болезнь Гугу было больше невозможно. «Какая-то непонятная у него болезнь. Профессора в Тбилиси сами удивлялись — никогда, мол, они не видели еще подобного больного... Депрессия, говорят, у него». Трудно было матери назвать своего сына сумасшедшим, безумным, потому и цеплялась она за подхваченное в Тбилиси слово «депрессия», которое скрывало за собою очень многое. И когда ее вежливо спрашивали, а что же это такое, эта депрессия, она старалась разъяснить это слово как-нибудь «помягче»: «Это что-то вроде душевной болезни...». Трудно, ох, как трудно было Тату признать, что сын ее сошел с ума!

## БЕЛЫЕ НОЧИ

Гугу ночи напролет проводил без сна. Комнатушка, в которой он лежал, имела две двери — передняя дверь выходила под навес, а вторая, задняя, вела в комнату Тату. Через эту дверь и входила она к сыну. Обе двери Гугу запирали изнутри на засов. Можно было бы запереть просто на щеколду, но Тату раза

<sup>1</sup> Пеламуши — пастила из виноградного сула, замешанного на муке.



два открывала дверь, сбросив щеколду просунутым в щель кончиком ножа. Гугу обозлился и стал после этого запира́ть дверь на засов. Все те, кто приходил к его навещать, уходили ни с чем. Тату, всегда такая радушная, не знала, как перед ними извиняться:

— Ума не приложу, что мне, горемычной, делать? Прямо хоть с моста в реку! Вот в этом и состоит вся его болезнь — никого он видеть не хочет, даже родной матери. Лежит себе и молчит, молчит. Есть, оказывается, такая болезнь. Как же мне быть, как отпустить таких желанных друзей, не дав с ним повидаться!

Гугу действительно никого ничем не тревожил, никому не приносил вреда, кроме разве самого себя. Он будто казнил себя, не видясь даже со своим Куджи, истязая тело свое страшными пытками. Он не терпел ни электрического, ни солнечного света. На столике перед ним стоял пятисвечный шандал, но он разрешал зажигать только одну свечу. Поглядеть на него, пикто сразу бы и не сказал, что он ненормальный. Кроме цепей, которые он не снимал ни днем, ни ночью, ничего в нем от ненормального не ощущалось. Он лежал в полном молчании, лишь изредка поднимаясь с постели. Он не перекидывался ни единым словом даже с матерью — неумогу ему было открывать рот. Стучась в дверь, Тату должна была тотчас же и говорить, что ей нужно. Только она одна и связывала его с внешним миром. Раньше он совсем ничего не ел, но в Тбилиси ему делали какие-то уколы и предупредили, что его следует хотя бы через силу кормить. Когда мать заносила ему еду, вместе с ней в комнатку Гугу входила вся Сакаландарио.

— В деревне большие новости, нана, — с нарочитым возбуждением начала Тату, надеясь привлечь внимание сына. Может, он о чем-нибудь спросит, может, оставит ее в своей комнате подольше. — Комиссия приехала из Тбилиси. Говорят, это твои товарищи, нана, они, оказывается, тебя знают...

— Поставь-на, мама, еду, до каких пор ты будешь держать ее в руках!..

— Да-да, хорошо, не сердись, я уже иду. На вот...

Особенно мучительно бывало Гугу по вечерам, когда к Тату собирались соседи и, рассевшись, заводили громкую беседу. Гугу не хотелось их слушать. Он начинал беспокойно метаться на своей постели. Но наконец все расходилось, и в кухне воцарялась гробовая тишина. Мерцание единственной свечи в шандале и эта безмолвная белая комната навевали какое-то удивительное состояние. Будто тени прошлого дрожали в крохотном огоньке оплывающего свечного огарка. Комната наполнялась видениями, призраками. И не различал Гугу, когда заканчивались видения и начинались сны...

— Гугу, сынок, Гугу! — послышалось из-за двери. — Открой, я выглядела для тебя простыню.

Время цепями, Гугу поднялся с постели. Он в белом медицинском халате, под которым прямо на голое тело навешаны цепи. Постель его не покрыта простыней — все белое, что было у Тату в доме, развешено по стенам. Комната Гугу убрана во все белое.

— Постели, нана, эту простыню на кровать. Для стен больше не требуется. Не могу я видеть, как ты лежишь без простыни.

Гугу закрыл перед матерью дверь и завесил простыней книжный шкаф. Теперь по всем четырем стенам сплошная белизна, темнеют только закопченные потолочные балки и стропила.

Медленно ползет ночь... Деревья давно уже спит, и Тату тоже собирается лечь. Она засыпала в кастрюлю фасоль, поставила ее на стол, погасив лампу, послушала, спит ли Гугу, и улеглась. Улеглась, но продолжала прислушиваться — по ночам Гугу разговаривает. Днем он жалеет для матери слова, а по ночам говорит и говорит.

...Тату уснула с думами о сыне. В кухне могильная тишина. Только издали доносится подвывание Цорморти. Гугу лежит в своей комнатке с открытыми глазами, неотрывно глядя в один из темных углов...

В саду Гекаты распустился цветок мандрагоры. Хлопотливая пчелка кружит и кружит над цветком, и не присядет на него и не отлетает, будто и нравится он ей и не нравится. А из цветка мандрагоры выходит Анина. И, боже, как она хороша! Но вот она заглянула в окошко, прильнула к стеклу и впилась в Гугу глазами. А ему так не хочется, чтоб она на него глядела! «Отойди от окна!» — силится крикнуть он, но у него нет голоса. Болен он, болен! А Анина все упреет заглядывает в окно. Сердце у Гугу бешено колотится. Он открывает глаза. Анина все еще здесь. Когда же, когда сгинет видение?..

В окно глядится круглая луна.

Скверный сон привиделся Гугу, сердце у него до сих пор стучит... Наверное, больше ему не уснуть. Он лежит с открытыми глазами, не сводя взгляда с белых простынь.

На дворе ночь. Сакаландарио спит.

...Пропало, исчезло белое обиталище душ, тьма поглотила Гугу Каланда-ри. Жуткая, непроглядная тьма... Бескрайняя, безграничная черная пустота... И вдруг в это царство тьмы ворвался внезапно адский грохот... О, в каком страхе пробулдился Гугу!

Оказывается, уже рассвело и на кровле кудахчет курица. Снесла яйцо утром яичко и расшумелась. И как пронзительно громко она кудахчет!..

— Кш, кш! Заешь тебя лиса! — всполошилась в своей боковушке Тату. — Разбудила небось парня! — Схватив длинный прут, она пустилась по двору за курицей. Та, спасаясь от нее, заметалась по кровле с неистовым вхо-таньем.

— Совсем взбесилась, проклятая! Кш, кш, пропади ты пропадом!

Курица наконец слетела с кровли и, кудахча пуще прежнего, понеслась по двору... Гугу, гремя цепями, повернулся с боку на бок.

— Разбудила тебя, нана? Верно, снесло яичко, негодница!

Гугу ничего не ответил. Он был занят своими мыслями.

Тату разожгла огонь, выгнала из хлева корову и принялась ее доить.

Было еще раннее утро, когда в калитке подошел Дидкоста. Тату выглянула из кухни. Дидкоста вошел во двор, и Цорморти затрусил навстречу соседу. Старик нес в руках аккуратно нанизанную на прутик рыбу. В самом низу висел изрядный сом, а выше шли небольшие усачи. Чешуя только-только выловленной рыбы поблескивала на солнце серебром. Тату пошла навстречу гостю:

— Ну зачем это вы! Будет вам о нас заботиться.

— О чем ты, Тату! Стоит ли об этом говсрить... Как Гугу?

— Эх, плохо дело моего сына, батона... Пожалуйте, может, он вам откроет. Они подошли к порогу кухни. Тату бросила рыбу для мойки в большое корыто и крикнула Гугу:

— Дядюшка Коста пришел, нана! Свежей рыбки тебе принес.

Дидкоста достал папиросы и закурил.

Тату прошла к внутренней двери кухни и, обернувшись, глянула на Дидкосту с безнадежным видом: напрасны-де наши старания, он нам все равно не откроет.

— Отвори, нана, дверь. Дядюшка Коста тебя хочет видеть. Он каждый день навещает тебя, сгыдно, нана!

— Ничего, оставь его, Тату, я пошел. Тебе ничего не надо? — спросил Дидкоста, собравшись уходить.

— Нет, батона, можно ли столько вас беспокоить! — замахала руками Тату. Однако чувствовалось, что она чего-то недоговаривает.

— Как тебе не стыдно, Тату! Разве время сейчас чиниться!

Глядя на Дидкосту с робкой почтительностью, Тату виновато заулыбалась и выдавила из себя:

— Тогда пришлите Джонди, я его попрошу... Надо бы забрать из колхоза кукурузы, мне самой трудно...

— А может, тебе еще в чем требуется помощь? Не купить ли что-нибудь в магазине?

— Нет, нет, ничего не нужно, батона. Прошлой ночью Элкезер натащил кучу всякой всячины, да только кому все это есть?

— Элкезер?

— Да, Элкезер. Врача он привозил. Он ездил в Батуми и узнал там про какого-то врача, который, говорят, вылечил такого же больного, как Гугу. Элкезер, недолго думая, нанял машину и прикатил с тем врачом прямо к нам. Подумать, в какой расход вошел, бедняга! И все зря. Я готова была сквозь землю провалиться. Почтенный человек приехал из самого Батуми, какой путь проделал, чтоб осмотреть больного, и все ни к чему... Не открыл он нам дверь, ни в какую не открыл. Я просто сгорела от стыда перед Элкезером. Полезла даже через чердак на ту половицу и уж как просила, как умоляла, даже разбранила. Человек, говорю, из Батуми привез врача, так хоть впусти их к себе. Нет, никак. И слушать меня не стал, выгнал вон из комнаты. Прямо хоть в глаза людям не смотри после этого.

Разговаривая, Тату и Дидкоста дошли до калитки. Дослушав рассказ Тату, Дидкоста только молча покачал головой.

— Кукурузу я тебе сейчас же пришлю. Не стесняйся, если еще что понадобится. Не то обижусь, так и знай, — наказал он напоследок и в задумчивости ступил на дорогу. «Пройти, что ли, к Гвачи, — размышлял он, — может, я успею застать его дома до службы?» С этой мыслью он глянул на солнце и прибавил шаг. Дидкоста рассчитывал забрать Гвачи и вместе с ним отправиться к Гугу, как бывало, когда они втроем хаживали на рыбалку. Может-де, узнав, что они оба пришли, Гугу откроет им дверь, а то и раскачается пойти с ними порыбачить. А там, глядишь, отряхнется парень и настроение у него пе-

ременится. Старик всем сердцем переживал, что ничем не может помочь Гугу. Всю дорогу он только об этом и думал. Подойдя к калитке Гвачи, он увидел Григола — тот выгонял со двора свинью с рогатиной на шее. Выгнал за калитку и остановился, поджидая Дидкосту.

— Гвачи дома, батано Григол? — еще издали спросил Дидкоста.

— Несколько минут как уехал. А для чего он тебе?

— Дело к нему было, — ответил Дидкоста, подойдя и подавая Григолу руку.

Григол был в довольно замызганном и поношенном белом костюме. Его совершенно голый череп и лишенная растительности шея лоснились, как полированные, и только на лбу густо кустились белые, сильно отросшие брови. Эти брови придавали ему грозный вид, но на самом деле он был человеком совсем не грозного нрава.

В свое время умелый, пронирливый адвокат, Григол превратился теперь в обыкновенного мирного старикашку. С соседями и односельчанами он водиться не любил, держался всегда особняком, большую часть дня проводил в поле, куда выгонял пастись свою корову. Он частенько теперь прибалывал.

— Как поживаете, батано? — спросил хозяина Дидкоста.

— Плохо, очень плохо, мой Коста, хуже некуда. — Григол взял Дидкосту под локоть и повел его во двор. — К тебе вся деревня ходит ума занимать, так будь другом, выслушай. Я в последнее время сам не свой, прямо не знаю, куда себя девать.

— В чем дело, батано, не сводите меня с ума! Что может тревожить владельца такого дома, такой усадьбы, такого отменного хозяйства?

— Эх, мой Коста, нет у меня больше ни дома, ни усадьбы, — Григол обвел рукою дом и виноградник. — Все пропало, пошли прахом труды рода Тотии Каландариа.

— Что это вы говорите, батано?! — в недоумении вскинул плечи Дидкоста.

— Вот все это, что перед твоими глазами, продал прошлой ночью Гвачи, — проговорив эти слова, Григол устало опустился на скамью. — Иди присядь.

Дидкоста присел рядом с ним. Они сидели на длинной скамье, озадаченно глядя друг на друга.

— Уже с месяц как что-то взбрело Гвачи в голову. Он-то, положим, никогда не любил деревни, все в город рвался, а теперь ему здесь и вовсе опостылело. Даже службу оставил. Говорит, будто его перевели в Потти и он переезжает туда на постоянное жительство.

— Ну?

— Что «ну»? Он так издергался в последнее время, что его не узнать. Вот я и подумал... Что мне осталось? Не все ли равно, где доживать — Потти так Потти. И дал свое согласие. А теперь каюсь, да как еще каюсь... Трудно мне уезжать отсюда.

— Все это хорошо, но зачем же продавать усадьбу, зачем? Пусть себе он живет в Потти, а сюда наезжает.

— И слышать не хочет! Возненавидел он нашу деревню. Как-то до этого говорил даже, что думает переехать в Россию.

— А причина? Он ничего не говорит?

— Никакой причины у него нет. Захотелось ему жить в городе, и все.

Наступило молчание. Дидкоста ума не мог приложить, как утешить старика. Он молча курил папиросу, обдумывая, что же все-таки делать.

— Ссориться с ним, позорить его перед всем светом я не могу — один он у меня, как же нам ссориться? А то взял бы да разделился с ним. Две части нам с женой, а одну — ему. Вот и досталась бы ему одна кухня, — Григол порывисто вскинул руку и показал в сторону кухни, — пусть бы взвалил ее себе на спину и тащил в Потти.

Дидкоста улыбнулся — вы, мол, такого не сделаете, — потом встал и, как бы продолжая вслух свою мысль, проговорил:

— Не знаю, не знаю, трудно становиться между отцом и сыном. Наверно, у Гвачи свои планы. Он молодой человек, все у него еще впереди, надо вам с этим посчитаться.

— О-о! — только и воскликнул в сердцах Григол, поднимаясь с места, чтоб проводить Дидкосту до калитки. Возле калитки, под изгородью из трифолиаты, разгребала землю курица. Григол указал на нее пальцем и сказал, понизив почему-то голос:

— Вот эту курицу видишь? Как по-твоему, есть у этой курицы какие-нибудь планы?

Проговорив это, он повернулся и, оставив Дидкосту у калитки, пошел обратно к дому. Дидкоста опешил: до чего ж надо потерять с горя голову, чтоб забыть даже распрощаться с гостем!

Дидкоста вышел на дорогу с неприятным осадком на душе — ему не понравилась то, что он услышал о Гвачи. «Хоть Тату помогу, снесу ей кукурузу», — подумал он и направился в сторону колхозной конторы.

В больнице за Гугу Каландариа сохранили зарплату. Правда, на выздоровление его никто уже не рассчитывал, но у Анто Каландариа рука не поднималась подписать приказ об освобождении. «В виде исключения, в виде исключения...» — твердил он, словно желая оправдаться перед самим собой.

Тату не могла работать по-старому. Не могла, да и возможности у нее для этого не было. Ведь нельзя же было замкнуть Гугу в его комнатушке и оставить одного, без присмотра. А Тату ждала уйма всяких дел, хотя за время ее пребывания в Тбилиси родственники не пожалели рук для ее усадьбы. И кукурузу собирали, и фасоль, сою не оставили в поле. Но все это надо было еще перебрать, сложить. Что же до винограда, то ртвели тогда еще не начинался, собрали только ранний сорт — адесу. Хотя весь виноград Тату еще на корню продала соседям. До вина ли ей было! Возни с одной кукурузой и то довольно! Да и фасоль и соя пока были свалены в стручках под кухонным навесом и ждали, когда за них примутся. Надо было снять с деревьев яблоки и груши, притащить валявшиеся на огороде тыквы. Тату на этот раз встречала зиму неподготовленной. Не наварила, не намариновала она впрок ничего, в доме дров не было, не откармливалась новогодняя свинья. И это у такой хозяйки, как Тату! Но она так была растеряна и расстроена, что все у нее валилось из рук.

Сердцем исходила она от горестных дум, когда, покончив с домашними делами, присаживалась возле очага с каким-нибудь рукоделием в руках. Бегала она и к гадалке, разузнала о каком-то знахаре из соседней деревни. Но не было ни гадалки, ни знахаря, ни даже какого-нибудь древнего старика из знатоков ворожбы и заклинаний, которые не знали бы Гугу. Так разве ж осмелились бы они послать в усадьбу Гергебе каких-нибудь насех истолченных трав! И Тату ни от кого из них не добилаь ничего утешительного. Все они только робко советовали измученной матери: «Сходила бы ты в Илори, помолилась».

Луна взошла ясная-преясная и осветила небо подобно солнцу. Над Сакаландарио распростерлась белая ночь — тутарчела...

Гугу Каландариа охватывает смутная тревога. Он не понимает, да и не пытается понять, что его мучит. Ему не спится и не ложится. Гремя цепями, он встает с постели и начинает беспокойно сновать по комнате. Глаза его невольно тянутся к окну. Он сдергивает белую простыню и впускает в комнату тутарчелу. Комната заполняется белой тишиной. Душа больного впитывает и впитывает эту белую тишину и неприметно сливается с нею. Он ложится и на какие-то мгновения затихает.

На страстную женщину похожа тутарчела...

Гугу еще не спит, он грезит, и странное видится ему в полудреме: перед ним стоит нагая прекрасная женщина-тутарчела... Сон так сладостен, что длить его дольше нет сил... Гугу раскрывает глаза. Поднявшись, он снова принимается сновать по комнате, лягая цепями. А то вперится в луну и надолго застынет в неподвижности. Но вот, будто решившись на что-то, шагнул к выходу, потянул засов, осторожно приоткрыл дверь и вышел... Побрел куда-то Гугу Каландариа... Оказавшись у сада Гекаты, он перешагнул через перелаз, двинулся, лягая цепями, по спуску и затерялся в кустарнике, в зарослях ольхи и каштана.

Бог ведает, не сон ли какой привиделся Тату, только она так внезапно проснулась, будто ее встряхнули. Вскочив с постели, бросилась она в одной сорочке в комнату Гугу и, глянув в щелку, с возгласом: «Горе мне!» — побежала во двор и остановилась перед дверью, которую Гугу только что за собой притворил. Постояла с минутой и, решив, что, может быть, Гугу где-то поблизости, влопыхах натянув на себя что попало, кинулась к уборной, потом к саду Гекаты и, остановившись там возле перелаза, прислушалась. Но Гугу был уже далеко. Тату вернулась было на кухню, но нет, не могла она усидеть на месте. «Знать бы, куда он пошел, куда он пошел?» Она накинула на себя шаль, вышла на дорогу и почему-то направилась в сторону больницы. Войдя во двор, она обогнула «инфекционный» корпус, заглянула внутрь. Из палат не доносилось ни звука. Тихо, на цыпочках, снова пересекла она больничный двор и направилась к дому Анины. Вблизи центра деревни она увидела издали Парте. Ей неприятна была эта ночная встреча. «Хотя бы не заметил», — подумала она. Но он уже приглядывался к закутанной в платок женщине.

— Тату, ты? Что это подняло тебя среди ночи? Не хуже ли Гугу?

«Ох, и лиса же ты», — подумала Тату, а вслух сказала: — К невестке иду... Я-то ладно, а вот ты чего бродишь по ночам? — сказала она, досаду в душе, что ей все-таки приходится объясняться с Парте.

— Служба у меня такая. Я тут с утра до полуночи, — и Парте указав рукой на колхозную контору. — А как Гугу?

— Спасибо, ничего себе.

— Эх, Гугу, Гугу... Он за моим отцом больным присматривал, а теперь вот сам... Я было решил забрать отца домой: что ему там, в больнице?! Да невестка ваша не дает. Я, говорит, сама за ним присмотрю и, пока он совсем не оправится, куда его не отпущу, никому не отдам. Но разве ему что поможет после смерти Гучи! Посуди сама, Тату, для чего теперь старику жить? Его ведь только понапрасну мучают! Разве это дело, чтоб Партку Каландариа умирал в больнице?! Стыд один, и ничего больше!

— А зачем ему помирать? Грех так говорить о живом человеке!

— Да, батона, да, он не должен помирать, но ведь умирает же!

— А если так, то ты тем более ему ничем не поможешь, а моя невестка — врач!

— Это-то верно... Ты только не сердчай, но я подумал, может, ты бы своей невестке...

— Моя невестка свое дело получше нас с тобой знает.

— А я что говорю, батона! Просто я сказал, может... Но как ты пойдешь одна в такую пору? — перевел разговор Парте, видя, что Тату начинает злиться.

— Ничего, Парте! Мне не привычно, чтоб меня провожали. Я уже с давних пор хожу одна.

— Ну, извини, до свидания!

— Будь здоров!

Не лежала у Тату душа к Парте. Помнила она, как возмущался Гугу, рассказывая о болезни Партку и о том, как сыновья собирались догреть руки на отцовской смерти... Да и до них ли ей сейчас было!.. С трудом отделавшись от докучливого собеседника, она заспешила своим путем.

Во дворе у Анины тихо. Тату поднялась на балкон — бывают же на свете чудеса; может, Гугу зашел сюда? Но во всем доме было темно. «Что же мне теперь делать? — подумала она. — Не разбудить ли Анину?» Но не стала она тревожить невестку и пошла обратно.

\* \* \*

В следующую ночь Тату не ложилась — она решила подкараулить сына. И когда после полуночи он поднялся с постели и открыл дверь, она пошла на встречу. И нужно было видеть, что с ним стало, как он озлился. Выкрикивая в неистовстве что-то непонятное, он перешагнул через упавшую перед ним мать и быстрыми шагами двинулся к калитке...

— Куда ты, сын мой? Не убивай меня! Куда ты?! — со стоном крикнула она ему вдогонку, но не получила никакого ответа.

«Кто знает, может, лучше, что он выходит на воздух...» — пыталась она успокоить себя, видя, что он направился в сторону сада Гекаты. А когда и в третью ночь повторилось то же самое, Тату решила, что сын ее лунатик, и раставила перед его кроватью тазы с водой. Гугу и на следующий день все также поднялся среди ночи, осторожно ступая, прошел между тазами, не расплескав ни капельки воды, и благополучно выбрался из кухни.

В одну из последующих ночей Гугу остался дома, и Тату даже беспокоилась — почему это он никуда не пошел? А потом, зачастили дожди, и Гугу вовсе прекратил свои ночные вылазки. «Должно быть, он все-таки выходил подышать свежим воздухом», — с облегчением подумала мать.

А он оставался дома только потому, что теперь пошди темные ночи. Это тутарчела не давала ему усидеть дома: звала его, манила к себе лунная ночь. И шел он вовсе не потому, что думал прогуляться или подышать свежим воздухом. Странные его путешествия не имели ни смысла, ни цели. Он выходил, сливаясь с тутарчелой и шагал, как слепой, куда-то в необъятных белых просторах. Он и сам бы не сказал, куда он стремится и зачем, — это луна выманивала его из дому и вела за собой. И все-таки это «куда-то» приводило его всегда к конкретной цели.

Миновав сад Гекаты, он спускался по склону в ущелье Чхарулы и, продираясь вдоль берега сквозь высокие папоротники, обходил стороной деревню и оказывался подле домика Анины. Там он становился или усаживался под навесом. И когда Тату в ночь первого ухода сына в тревоге поднималась на балкон Анинино дома, Гугу сидел в темноте под навесом, укрывшись за столбом. И

не подойди вплотную, никто бы не различил, человек там сидит или темнеет какой-то чурбак.

Людей он по-прежнему избегал. Это и заставляло его пробираться нехорошими местами. Но знал бы кто, чего стоило ему открыть калитку в окружавшей кукурузное поле изгороди — калитка скрипела цепи лязгали, а кругом поблизости жили люди! А самое страшное было одолеть кусочек дороги до калитки — иначе к дому Анины не подойти. Это были, правда, какие-то двести метров, но что за двести метров! Выйдя из зарослей, Гугу пугливо озирался по сторонам — не видно ли кого на дороге — и зайцем перемахивал через «опасную зону». И все же его ночные блуждания не прошли незамеченными — кому-то попался-таки на глаза шагавший к дому Анины бородач в белом, лязгающий на ходу цепями. И уже на утро следующего дня об этом стало известно всей деревне. И пошли суды-пересуды, превратившие Анину в колдунью, заворожившую мужа своими тайными чарами. Достигли эти пересуды и Больницы.

Как-то Анина услышала подозрительное перешептывание молоденьких медсестер, которые, воспользовавшись минутами до прихода врача, срудчались в физиокабинете:

— Что случилось, девочки, о чем вы тут шушукаетесь?

— Ничего, просто так болтаем.

Однако Анина уже успела уловить сказанные шепотом слова «цепи» и сразу поняла, что разговор касался Гугу.

— Вы что-то скрываете от меня, бесовестные!

— Скажи, скажи, чего ты мнешься! — подтолкнула одна из девушек другую.

— Да это же не я говорю, это Квеквесихе. В полночь, говорит, позади дома Анто Каландариа папоротником пробирался какой-то человек, весь обвешанный цепями.

— А что, интересно, она сама делала в полночь за домом Анто Каландариа? — хихикнула одна из фельдшерниц. — Ну и чертовка же эта Квеквесихе! Да вы ведь сами, батано, ее знаете.

— Как же, как же, знаю, — ответила Анина и, стараясь не выдать своего волнения, добавила в тоне замечания: — Но сейчас как будто не время для болтовни.

Девушки стали расходиться.

— Обратите особое внимание на третью палату, — распорядилась вдогонку Анина, стараясь, чтоб ее поручение выглядело поделовитее.

Анина ни под каким видом не хотела, чтоб в деревне стала известна вся эта история с цепями. Ведь тогда на болезнь Гугу, которую Тату так удачно окрестила «депрессией», люди взглянули бы другими глазами. А так все только и знали, что Гугу все время лежит в постели, никого к себе не пускает и не терпит ни дневного света, ни электричества. В этом и проявлялась вся его «депрессия». И хорошо было бы, если бы, кроме этого, никто ничего больше не знал. Потому Анину так взволновало услышанное. Ведь из болтовни Квеквесихе было ясно, что видела она не кого другого, как Гугу. Однако чего ради он забрался в заросли папоротника позади дома Анто Каландариа? Ведь перейди только дорогу, и там рукой подать до домика Анины!..

Смерклось, когда Анина на цыпочках вошла в кухню Тату. С тех пор как Гугу заболел, между Тату и Аниной пробежала черная кошка: свекровь винила в болезни сына невестку, и это внесло разлад в их отношения. Правда, Тату никогда даже словом ни перед кем не обмолвилась о своих догадках, но самой Анине она намекала довольно ясно, и та стала ее избегать. Повидать своего внучонка Куджи Тату ходила в детский сад. Вызовет его, поплачет, приласкает. А к себе она брать ребенка не могла — Гугу не желал видеть сына...

Тату вышла из кухни, они с Аниной укрылись в укромном уголке и зашептались, как заговорщицы.

— Гугу, говорят, видели как-то за домом Анто Каландариа. Это возможно?

— Да. Он по ночам куда-то ходит.

— Не ко мне ли?

— Не знаю, мне он ничего не говорит.

— И ребенка не хочет видеть?

— Никого не хочет.

— А ему как — лучше или хуже?

— Так же, как было.

Смолкли. Анине не хотелось уходить, но говорить как будто больше было не о чем. Слова не шли с языка, и волей-неволей пришлось попроситься.

— А может, нап, он и впрямь к тебе ходит, а? — побегала за нею Тату. — Или еще придет? Что-то чует мое сердце, что он непременно к тебе



наведается... В одну из ночей я его Христом-богом закланила, но он так и не признался, куда ходит. Вон туда куда-то все норовит, — показала Тату рукой в сторону сада Гекаты. — Последи, нана, повнимательней. А если придет, то не берись смелости и впусти его в дом. Ты не бойся! Это ведь не тот Гугу, которого ты знала — дунь на него, и он свалится. А там, нана, ты сама знаешь, сама знаешь...

Они еще постояли у калитки, и как-то само собой что-то вдруг между ними изменилось. Свекровь, как когда-то, нагнала Анину, шепнула ей несколько ласковых слов, у той все внутри всколыхнулось от этого неожиданного тепла, и они на миг с надеждой взглянули друг другу в глаза...

— Зачем же вам, нана, меня упрашивать?! Лишь бы только Гугу...

— Верно, верно, да падут на меня твои горести. Но не знаю...

— До свидания, нана!

— До встречи, дочь моя!

Вернувшись домой, Анина сразу же бросилась в комнату, где раньше был кабинет Гугу, подбежала к его рабочему столу и, рухнув возле него на колени, взмолилась:

— Только вернись ко мне, Гугу, только покажись на глаза! Пусть ты изведся в своих веригах, пусть ты истаял, я буду ухаживать за тобой, я буду тебя лелеять, и ты исцелишься. Вспомни, вспомни, Гугу, нашу любовь! Мы самой природой созданы друг для друга, это она слила воедино наши души и наши тела. Так не иди же против естества! Мы не выдержим друг без друга, я не вынесу этого, Гугу! Я зову тебя, каждую ночь зову. Ты внял моему голосу, раз вышел из дому в своих цепях. Это я, твоя Анина, Гугу! Это я зову тебя... твоя Анина! Не беги от меня, Гугу, не мучь, прости! Я люблю тебя, безумно люблю! Без тебя мне и жизнь не в жизнь! Я зову тебя, Гугу, и не перестану звать... Ведь в нас с тобой только одна дорога — дорога любви. Забудь, Гугу, то, что было, и приди. Я до самой могилы буду тебе верна...

Небо усыпано звездами. Сакаландарио потонуло в черной бархатной тишине. Высокие ореховые деревья закутались в черные бурки; едва шевелят листочками акации. На Белой горе протяжно кричит, верно одна-единственная в тех местах, лиса. Ее жуткий, как вопль одиночества, крик приводит в содрогание.

Медленно плывет молодой месяц, и ночь становится все нежнее, все мягче. С высоты нисходит и лениво расплывается над землей белесый туман. Тутарчела пожаловала в Сакаландарио.

Тутарчела! Тутарчела!

Из высокого папоротника выходит, гремя цепями, Гугу Каландариа. Ах, он бедняга, ах, бедняга Гугу Каландариа!

Гугу Каландариа шагает медленно-медленно, из боязни перед людьми минутно озираясь по сторонам. Вот он пересек дорогу, открыл калитку и зашагал полем. А там недалеко и домик Анины...

Под навесом возле дома Анины тихо плачет Гугу. Неужто это правда о ней так горько плачет, так безысходно тоскует?

«Гугу, Гугу я зову тебя! Приди ко мне, Гугу, я жду тебя, жду каждую ночь!» — Это голос Анины чудом проник сквозь стену и колдовской силой коснулся слуха Гугу.

Он вскочил на ноги. Ах, он бедняга, ах, бедняга! От лязга цепей вздрогнула тихая обитель Анины. Она в комнате услышала этот лязг и опрометью выскочила в одной сорочке на балкон.

— Гугу, Гугу! Где ты, Гугу?! — громко крикнула она в ночь.

Гугу, услышав ее зов, метнулся, гремя цепями, через двор и, отбежав немного, притаился в канаве. Анина последовала глазами за звоном цепей, но, не разглядев ничего в темноте, упала головой на перила и расплакалась.


А тень ночного гостя уже прощмыгнула позади дома.

\* \* \*

Как-то внезапно Сакаландарио оделась во все белое. Густо повалил снег, ударили сильные морозы, и студеная зима привольно расположилась в цехенисцкальских чащах.

Наступили долгие белые ночи...

Долгие белые ночи начинаются в декабре. В декабре в природе владычествует ночь и луна становится властительницей неба и земли. Она поистине царит в небе тутарчелы,



Долгая белая ночь распростерлась над побережьями Цхенисцкали. Сакаландарио замерла под белоснежным одеялом. Только притихшая река осторожно крадется по заснеженным полям. Ее уже начало прихватывать морозцем. Она боится она, как бы вовсе не заledenеть. В небе сияет огромная белая луна. Опалоро белеет в ночи и Белая гора, подпирающая высокое небо тутарчелы. Как белое безумие, выходит в ночь облаченный во все белое Гугу Каландариа. Ах он, бедняга, ах, бедняга Гугу Каландариа! Сад Гекаты и ущелье Чхарулы белым-белы, будто Гугу вынес наружу свою белую комнату, уподобив весь мир белой больничной палате.

Застыла от холода белая Сакаландарио. Струящийся с ясного неба мороз сковал горы и доли, затаил толстым слоем льда стоячую воду, развесил сосульки под кровлями домов.

По снежному насту шагает Гугу Каландариа. Снегу по колено, но он смерзся и только поскрипывает, не проваливаясь под ногой. Продрогшая тутарчела стучит зубами на балконах, на кровлях домов, под кухонными навесами.

Вдали показался домик Анины. Гугу, опасливо озираясь, подходит все ближе и ближе. А за стенами домика заливается слезами Анина. Она, как всегда, ведет беседу со своим мужем.

«Гугу, дорогой, я жду тебя, жду, преклонив колена. Ты слышишь меня? Я знаю, слышишь! Ведь и до меня поминутно долетает твой голос. Не терзай, не мучь меня, Гугу!» — в слезах разговаривает Анина со стеной. В комнате темно. В задней комнате горит лампа — там спит Куджи.

«Где ты сейчас, мой дорогой, мой единственный? — захлебываясь от слез, повторяет и повторяет Анина. — Неужели ты на дворе в такую лютую стужу? Неужто продолжаешь все так же безбожно терзать себя?! Не будь Куджи, и я бы навесила на себя цепи и извела свою постылую жизнь в страстных муках. Если бы не Куджи, клянусь тебе, если б только не Куджи!..»

Где-то вдали завывает собака. Волк, видать, примерещился ей в эту снежную ночь. На обрубке пня сидит потерявший себя Гугу Каландариа. Ничто земное его не трогает, он весь принадлежит какому-то иному миру, с тутарчелой сливается его душа...

— Гугу, Гугу! — слышится голос Анины, и в голосе этом тревога и отчаяние.

Гугу, гремя цепями, встает — он собирается отсюда бежать, потому что перед ним уже не видение, а живая, во плоти, Анина. Она спустилась по лестнице и направляется к нему. Он хочет бежать, но не находит в себе сил — его будто заворожило. Он боится, боится этой женщины, он не смеет перед ней шелохнуться.

Анина в одной ночной сорочке, поверх которой накинута пальто. Она вся дрожит то ли от холода, то ли от страха. «Гугу, мой Гугу», — шепчет она, подходя к нему все ближе и ближе. А он смотрит на нее, не отводя глаз, застыв в каменной неподвижности. Его словно околдовали, загнипотизировали. Женщина протягивает ему руку, свою нежную, легкую руку...

— Пошли в дом, Гугу, ты весь продрог! Ведь ты узнал меня, правда, узнал? Я твоя Анина. Почему ты смотришь на меня такими глазами? Это я — твоя Анина, Ануля. Пошли же, пошли! — И она берет его за руку.

На мгновение взор Гугу застилает мгла, мир погружается в темную пучину. Идя впереди, Анина, как слепого, ведет его по лестнице. Вот и балкон. Она толкает дверь в его комнату. Он смотрит за порог такими глазами, будто по ту сторону разверзается пропасть. Взгляд его удивленно блуждает по полу.

— Заходи, Гугу, заходи! Это ведь твоя комната.

В комнате раздается лязг цепей. Анина быстро замыкает дверь из страха, как бы Гугу не передумал.

Она будто ожидала прихода мужа. В комнате тихо и тепло, в камине жарко пылают дрова; электричество во всем доме выключено, и только в уголке горит единственная свеча, постель растелена. На столике перед камином аккуратно разложены фрукты, чурчелы, сушеные корольки. Тут же стоит и графинчик водки. В чайнике закипает вода — может, Гугу напьется с холода чаю. Все сделала, все предусмотрела Анина, чтоб удержать мужа в эту непогожую ночь тут, возле себя. «Может, он понемногу освоится, может, останется, не уйдет». Больше ни о чем Анина и не мечтает. Ей и в голову не приходит, что в этой комнате может сегодня произойти чудо...

— Садись, Гугу, погрейся. Подойди поближе, поближе подойди! — упрашивает она.

Но Гугу жметесь в темном уголке, только поглядывая на камин.

— Я тут побуду, тут побуду, — машет он руками, продолжая жаться к стене.

— Хорошо, побудь там, а я тебе приготовлю чай, вода уже вскипела.

Анина наливает в стакан чаю.

— Туда тебе подать или подойдешь?

— Сюда, сюда, — бормочет Гугу, трясясь всем телом.

— Ну, подойди сюда, Гугу! Что с тобой? Боишься ты меня, что ли? Как тебе не стыдно! Ну-ка, взгляди хорошенько, ты ведь меня помнишь? Я Анина, Анина! — приглушенным голосом говорит Анина, боясь разбудить спящего в комнате рядом Куджи.

— Нет, нет, туда нет, — бурчит Гугу, но Анина все же ведет его к камину: стоило ей коснуться его, как он покорно подчинился ее воле.

Анина постепенно смелеет. Она видит, что Гугу совсем не страшен. Он жалок, жалок и несчастен.

— Выпей, выпей горячего чаю, это тебе сейчас полезно.

Они уже сидят подле камина. Гугу млеет от тепла, тянется поближе к огню и с удовольствием попивает чай. Анина напряженно всматривается в мужа. «Как он изменился, стал как будто меньше», — думает она, глядя на его ссутулившуюся фигуру. Взъерошенные волосы и спутанная борода придают его лицу мучительно-болезненный вид. «Господи, такой мороз, а он в одном белье!» Она останавливает взгляд на его голых коленях: «Совсем посинели» — и осторожно коснулась их. «Ему нужно сделать теплую ножную ванну», — решает она и, выйдя в другую комнату, приносит таз. В чайнике вода еще не остыла. Она сливает ее в таз; разбавляет холодной водой и пододвигает таз Гугу. Он смотрит на таз в точности так, как смотрит животное на нож, которым его собираются резать.

— Это теплая вода, Гугу! Опустит в таз ноги, опусти, не бойся.

Анина наизусть заставила Гугу опустить в таз ноги и сама их обмыла, а потом присела с ним рядом, придвинувшись к огню. Гугу так тянется к огню, что Анина начинает опасаться, как бы его не опалило. Он сидит, ссутулившись, у каминного выступа и с такой поразительной настойчивостью всматривается в огонь, будто ищет в нем разгадки своей судьбы.

Анину пугает его настойчивый взгляд. «О чем только он думает, уставившись в огонь? Что замышляет?»

— Спина у тебя не замерзла, может, что-нибудь накинуть?

— Может, ты устал и хочешь прилечь?

— Ну, скажи что-нибудь, Гугу, скажи хоть слово, невозможно же так! — не выдерживает Анина, но сама пугается своего громкого, истерического голоса и сразу переходит на свой всегдашний мягкий и ласковый тон: — Ну скажи же что-нибудь, хоть одно слово скажи. Тут никого нет, мы с тобой одни, совершенно одни.

Гугу вдруг шевельнулся, будто пробудившись ото сна, поднял на нее глаза и пробурчал:

— Я... я... растерял...

— Что ты растерял?

— Слова... ва... — прошептал Гугу. — Слова... для... беседы... с вами...

— А я слышала, что ты целыми ночами болтаешь, — деланно рассмеялась Анина. — Хорошо, не говори ничего, будем беседовать без слов. — И она попыталась обменяться с ним взглядом. Но он сразу отвел от нее глаза.

Анина поглядела-поглядела на него и в смятении поднялась с места, не зная, что же еще предпринять: ей ни на минуту не удалось привлечь к себе его внимания. Он, как заколдованный, тянулся к огню. И вдруг она рывком распахнула дверь в заднюю комнату, включила свет и тихо позвала:

— Гугу! Погляди-ка, Гугу! Разве ты не соскучился по Куджи? По своему Куджи?!

Гугу и глазом не моргнул.

Куджи походил на спящего ангела. Щечки его алели, лицо дышало безмятежным покоем. Ему не понравилось, что включили свет, он зажмурился и повернулся на другой бок.

Анина погасила свет и прикрыла дверь.

— Тебе надо лечь, Гугу. Ты устал. Нельзя же так долго не спать, — твердо и внушительно сказала она, подходя к камину. — Постель готова. Вот наша кровать. Хочешь, и я с тобой лягу. Встань же, встань...

Гугу не двигался. Анина взяла его за локоть. Он вздрогнул, забеспокоился и, весь сжавшись, снова прилепился к камину.

Анина решила оставить его в покое: «Подожду, посмотрю, что он станет делать». Они долго сидели молча. Мимо них на дыпочках кралась ночь. Где-то вдали пропел петух. Луна зашла за горы, уведя с собою тутарчелу. Над Саландарио теперь висели только звезды, словно им, отбив свой долг, поручила луна судьбу Гугу Каландариа.

— Иди, Гугу, ложись, и я с тобой лягу, — тщетно умоляла Анина. Наконец она решила: лягу сама, может, увидя меня в постели, и он захочет прилечь. А если он уснет, то, может, так тут и останется — ведь днем он из дому не выходит. Хоть на один бы денек остался он с нею, тогда, пожалуй, удастся удержать его насовсем.

— Гугу! Погляди на меня!..

В своей коротенькой сорочке Анина выглядела маленькой девчушкой.

— Замерзла я, Гугу, иди же!

Женское чутье подсказывает Анине, она сердцем чувствует, что Гугу вот-вот поднимется и подойдет к ней.

— Я жду тебя, жду...

Гугу бросил взгляд на кровать, и в глазах его разом отразилось невероятное множество мыслей: «Кто ты такая? Чего тебе от меня надо? Ты меня правда все еще любишь? Я болен, болен, оставь меня в покое! Я люблю тебя! Я тебя ненавижу! Ты изменница! Ты такая красивая, ты моя дорогая...»

Тишину комнаты нарушил лягз цепей. С неистовством вскочил на ноги Гугу Каландариа! Анина замерла в ожидании чего-то ужасного. Гугу в этот момент более походил на зверя, чем на человека. Шагнув к кровати, он схватил Анину за волосы и, откинув ей голову, заглянул в глаза. «Убейте! — подумала Анина — Ну и пусть! В такую ночь кричи не кричи — все равно никто не услышит. Но Куджи, Куджи, он ведь сойдет с ума! Горе мне, дитя мое!» И она прикрыла глаза.

Анину обняли знакомые руки. Гугу, гремя цепями, улегся на кровать. Анина крепко прижала к груди опутанное цепями тело мужа.

Утром, счастливая, с горящими глазами, Анина заглянула в соседнюю комнату — спит ли Куджи, потом быстренько напаялила на себя что подвернулось под руку и дустилась бегом, шлепая резиновыми сапогами по проторенной в снегу тропинке.

Деревня еще спала, только кое-где возле домов хлопотали прилежные хозяйки, поднявшиеся спозаранок, чтоб развести огонь для продрогшей за ночь скотины.

На проселке семенял по снегу дрозд. Приметив Анину, он со щебетом вспорхнул и уселся на верхушке акации. С покачнувшейся ветки посыпались комья снега. Анина неслась опометью. Ноги скользили, и она раскачивалась из стороны в сторону, словно перебегаю по перекинутому над речью бревну.

Вблизи от усадьбы Тату Анина замедлила шаг, отдышалась, постояла немного, приходя в себя.

Тату только что встала и собралась под навес за дровами, чтоб развести огонь в простывшей за ночь кухне. Едва переступив порог, она увидела возле калитки свою невестку. «Не заболел ли ребенок?» — подумалось ей, и она в страхе бросилась к калитке.

Тату не заметила, что Гугу не ночевал дома. Провозившись допоздна и устав, она тотчас уснула и не слышала, как ушел из дому сын.

— Гугу выздоровел, нана! Гугу поправился!.. — еще издали закричала Анина. Но Тату не разобрала ее слов и продолжала идти навстречу, не спуская со своей невестки встревоженных глаз: что, мол, еще, свалилось на мою голову?

Свекровь и невестка встретились на середине двора.

— Гугу выздоровел, нана! Гугу выздоровел... Эту ночь он пробыл у меня!.. Я его силком затащила в дом... Я сняла с него эти ужасные цепи!.. Он выздоровел!

— Что ты, нана?!.. — воскликнула Тату, все еще продолжая пристально всматриваться в невестку.

— Гугу, говорю, выздоровел, нана! Эту ночь он спал у меня, на нем уже нет цепей... Выздоровел он, выздоровел совсем!..

Анина еще не успела отдышаться после бега. Сердце у нее так колотилось, что казалось, вот-вот выскочит из груди, и складно говорить ей было трудно. А Тату, оглушенная радостным известием, и вовсе лишилась языка. Склонив набок свою седую голову, она только с благоговением смотрела на невестку, спрашивая ее полными слез глазами: правду ли ты говоришь, действительно ли мой сын, мой Гугу, выздоровел?

Так и стояли они посреди двора. Потом молча обнялись, припали друг к другу. Тату придержала руками голову Анины, поцеловала ее поочередно в оба глаза, потом подняла вверх правую руку со сложенными, как для крестного знаменья, перстами и трижды обвела ею вокруг головы Анины.

Анина поцеловала старуху в грудь: этому она научилась от самой Тату — в Сакаландарио старые женщины именно так выражали свои самые теплые, родственные чувства, а мужчины отвечали на это поцелуем в голову. Раньше Анина еще никого не целовала в грудь, а теперь вдруг почувствовала neodолжимую в этом потребность.

— Что же мне теперь делать, нана? — невпопад лепетала Тату.

— Какие мы счастливые, мама! Мы даже сами еще не знаем, какие мы счастливые!

— Правда, детка?! Это правда, что творец не покинул меня?! Что вернул мне свет моих очей?! — Тату, утирая слезы, глядела на Анину радостными, просветленными глазами.

За беседой они неприметно вышли на проселок. Без пальто, простоволосая, так, как вышла поутру из кухни, Тату шла следом за Аниной, беспрестанно приговаривая:

— О господи! О господи!

На проселке показался и третий «путник», — это был Цорморти. Собака оставила дом и на расстоянии трусила за Тату и Аниной.

Журавлиной цепочкой тянулись друг за дружкой впереди Анина, а за нею Тату и Цорморти.

Каландариа сразу же заметили на деревенской дороге ранних путников и не преминули поинтересоваться, что случилось. И Тату отвечала им со своей всегдашней сдержанностью:

— Гугу нас порадовал, на поправку пошел Гугу.

И тотчас же по деревне разнеслось: «Гугу выздоровел!».

В Сакаландарио наступил обычный зимний день. Необычным в нем было только то, что, стоило двоим встретиться на деревенском проселке, первое, что было у них на языке, — это новость о Гугу.

А на своем балконе стоял Дидкоста — он уже узнал о Гугу — и палил из ружья в небо, как в радостный день Нового года.

Перевод Маргариты ГРЖЕНДЖИЦЫ



Михаил МРЕВЛИШВИЛИ

# Жажда ЖИЗНИ

Рассказ •

В. С-ской

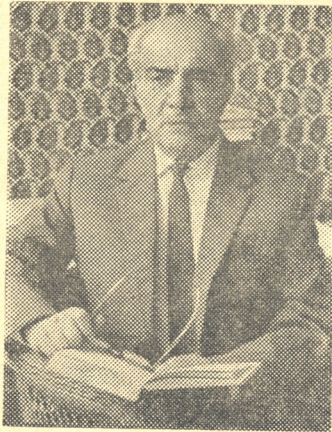
Десять часов вечера. Я сижу в кресле и безучастно смотрю «Великолепную семерку». Телеэкран то и дело мерцает, изображение теряется под частой сеткой. «Шалит волшебное зеркало».

...Сижу неподвижно и чувствую, как слабость разливается по телу, овладевает всем моим существом. Что со мной происходит? Переутомился, слишком много пришлось поработать? Ничего, пустяки — стараюсь встать, но какая-то неведомая сила сковала тело. Отяжелевшим взглядом окидываю комнату в голубом мерцании.

Из кабинета доносится стук пишущей машинки — сын печатает диссертацию. Что-то из области биофизики. Для меня она — terra incognita. Лучше вернуться к проекту мемориала. Задание грандиозное. Мемориал поднимется вверх по обоим склонам Мтацминды. Он отобразит многострадальную историю нашего народа, обновленную Грузию, героиню Великой Отечественной войны, труд строителей и хлеборобов, полет космонавтов. Здесь будут обелиски павшим в боях за свободу, скульптуры ученых, политических и общественных деятелей. Армия скульпторов, художников, архитекторов ждет моего плана, а я развлекаюсь американским «шедевром».

ИСПОЛНИЛОСЬ 70 лет известному грузинскому писателю Михаилу Николаевичу Мревлишвили. Творческий путь его начинается с середины 20-х годов: в 1926 году вышел в свет первый его роман «Инон», уже тогда привлечший к себе внимание и интерес читателя.

Михаил Мревлишвили — писатель широкого диапазона: романист, новеллист, драматург, автор многих статей по различным вопросам литературы и искусства. Без малого за полвека он создал произведения, принесшие ему широкую известность. Кто не знает его пьес — «Лавина», «Бараташвили», «Пла-



менный мечтатель», кого не пленяли его лиричные «Тбилисские новеллы», его замечательные повести «Кинжал в золотой оправе» и

«Очаг Харатели» (впоследствии инсценированная и с успехом шедшая на сцене грузинских театров). Одним из значительных произведений Михаила Мревлишвили явился роман «Рокковой поворот». Творчество писателя давно вышло за пределы Грузии — произведения его переводятся на русский и на другие языки братских народов.

Михаил Мревлишвили долгие годы редактировал журнал «Литература и Грузия».

Сейчас Михаил Николаевич целиком посвятил себя творчеству. Он полон новых замыслов и планов. Желает ему больших успехов во всех художнических начинаниях!

Хочу встать... Должен... Опираюсь о мягкие подлокотники кресла. Подняться стоит огромных усилий. На столе валяется ворох свернутых в трубку чертежей. Отвожу от них взгляд.

В последних числах июля было особенно жарко. А духота этой ночи была невыносима. Густой, неподвижный воздух затруднял дыхание. Шаг отяжелел. Неожиданно за моей спиной раздался оглушительный выстрел, и я упал как подкошенный.

«Кто стрелял?!» Я попытался подняться, но тщетно.

Белесая пелена тумана застлала глаза. Загадочные тени поплыли в тумане. Чья-то тень схватила меня.

— Кто стрелял?!

— Что ты, отец! — донесся до слуха испуганный голос сына.

— Не знаю, сынок, — пробормотал я и заплакал.

— Успокойся, отец. Ты и слезы — это несовместимо, — подбадривая, сын поднял меня на руки, вынес на веранду и уложил на тахту.

...Сумрак лунной ночи. Бледное лицо с испуганными глазами склонилось надо мной. Я чувствую теплое частое дыхание и переносюсь в далекое, очень далекое прошлое; мать стоит на коленях перед кроватью и ласковым дыханием старается согреть ребенка.

Образ матери тонет во мраке...

Бледное лицо улыбается вымученной улыбкой. Теплая рука откидывает с моего лба спутанные волосы. Теплая росинка падает на мою щеку... Одна... вторая... третья...

«Плачет», — я почувствовал, как слеза скатилась по щеке и растаяла на груди.

— Ты здесь?

— Да, мне позвонили.

— Знаешь, я не сумел докончить...

Она присела рядом, поцеловала меня и умоляющим тоном проговорила:

— Не надо об этом!..

— Ты права, сейчас вообще ни о чем не надо, — покорно согласился я и устался в темный потолок.

Белый туман внезапно рассеялся. Кто-то включил свет. Облачная дымка окутала меня. Зазвонил колокол. Смерва размеренно, гулко, потом протяжно, звонко...

— Колокола звонят, — сказал я в пустоту.

— Какие колокола, отец?

— Неужели ты не слышишь перезвона колоколов?

Сирена «скорой помощи» перекрыла колокольный звон и всколыхнула туман.

Теперь в тумане поплыли силуэты людей в белом. Один из них подошел, внимательно на меня посмотрел, приложил пальцы к моему запястью и зашевелил губами.

— Дареджан, — сказал он женщине, стоявшей рядом, — измерь давление.

Дареджан проводила взглядом ртутный столбик, нахмурилась, снова посмотрела на прибор и что-то шепнула врачу.

— Шприц, — приказал врач и обернулся ко мне, — как вы себя чувствуете?

— Слабость, доктор.

— На головную боль не жаловались?

— Никогда.

— Как давление?

— Не мерил.

— Шум в ушах часто бывает?

— Минуту назад мне чудился колокольный звон.

— Понятно.

Медсестра со шприцем в руках приблизилась ко мне. Я не почувствовал боли. Врач что-то сказал ей, и она снова скрылась за туманной завесой.

Врач взял меня за руку, спросил что да как. Я все ему рассказал.

— Следовательно, сознание не теряли. Это хорошо. И лицевые мускулы в порядке. Отлично. Ну-ка, проследите за этим молоточком... Вот так...

— Вокруг сплошной туман, доктор, ничего больше. Вот и вы мне кажетесь привидением.

— Так. Неврастения. Теперь обследуем конечности. Ну-ка, поднимем левую руку.

Я поднял левую руку и вздохнул с облегчением.

— А теперь левую ногу. Так, согнем ее в колене. Хорошо, — врач удивительно покачал головой и прибавил: — Передохнем, сделаем еще укол и возьмемся за правую, договорились?



Какой-то сомнительной теплотой веяло от этих слов.

Медсестра повторила процедуру, но в этот раз я почувствовал такую сильную боль, что невольно застонал.

— Болезненный препарат, но боль скоро утихнет, — успокоила меня Да-реджан и ушла.

— Поднимем правую руку, повеселей, — услышал я погody голос врача и увидел его силуэт.

Я попытался поднять руку, но не смог даже пошевелить ее. Врач двинулся до правой ноги, и она была безжизненна.

Врач нахмурился и принялся тщательно осматривать суставы конечностей и пальцы.

В коридоре зазвонил звонок. Раздался скрип входной двери. Туман вокруг меня притаился в ожидании. «Профессор», — прошептала медсестра. Врач «скорой» вытанулся и исчез.

Я остался один.

«Профессор?... Разве я нуждаюсь в профессоре?... Или я умираю и не чувствую... Да нет... легко дышится и не болит ничего...»

Сквозь туман прорвался шепот. Я напряг слух.

— ...Помощь?

— Через пятнадцать минут...

— Давление?

— Двести шестьдесят на сто двадцать...

— Сознание?

— Не...

— Диагноз?

— Гемипарез правого полушария...

— Посмотрим...

Они приблизились ко мне.

— Привет, в чем дело, старина?

— Уходит душа, Элизбар. Покидает меня.

— Ну это ты брось, душа наша в наших руках. Не отпустим, дружище, и все тут. Дай мне руку. Нет, не эту, правую.

— Она не подчиняется мне, часть моего тела умерла, Элизбар, очень скоро, наверное, и остальная последует за ней... — пробормотал я и хотел улыбнуться, но слезы подступили к глазам.

— Как тебе не стыдно, — Элизбар покачал головой. — Ты и слезы? Или позабыл рассвет на Табахмела, сладостные напевы дудки, наши буйные пляски?... Сколько времени утекло с тех пор, а?..

— Жили-были... — пробормотал я.

— Не волнуйся, не таких вылечивали... Твист у меня танцевать будешь!

— Эх, — безнадежно вздохнул я.

— Но помни, сам должен нам помочь. Лучшее средство от твоей болезни — самовнушение, не правда ли, коллега? — обернулся Элизбар к врачу «скорой».

— Совершенно верно.

— Неврология, дружище, мгла беспросветная. Сегодняшняя психотерапия внесла в ее непроходимые дебри луч надежды. Больной должен ухватиться за этот луч. Потому нужна воля, мужество. Надо владеть своими чувствами, взять себя в руки, да-а! Ну-ка, брат, приготовься к осмотру.

Профессор осматривал меня довольно долго.

— На мой взгляд, ничего опасного. Все будет в порядке.

— Успокаиваешь, а, Элизбар?

— Нисколько, однако осторожность не мешает. Прежде всего необходим полный покой... Я заберу тебя в свою клинику, уложу в отдельную палату... Почему морщишься?

— Не лучше ли умереть дома, Элизбар? — вяло пробормотал я.

— Подумай, прежде чем говорить, — повысил голос профессор.

— Колокола звонят, Элизбар!

— Где же, в каких это соборах — Анчисхати или Сиони?

— Звонят...

— Вижу, забыл ты уроки Сеида.

— Забыл.

— «Мальчик. Париж — это город или река?» — «Река, учитель!» — «Сядишь, дурак», — усмехнулся Сеид и вывел в журнале жирную единицу против твоей фамилии.

Улыбка прилипла к моим губам. Глаза профессора добрым светом светились в сумраке.

— А «Перца» помнишь? — спросил я.



— Смотри-ка! Великолепная память, а еще жалуется. Впрочем, дозволю. Думается, я утомил тебя, — он потрепал меня по плечу, повернулся к врачу «скорой»: — Надеюсь, коллега, вы дождетесь нашей машины, я тем временем зайду в клинику и все устрою.

Веранда, я и туман, никого больше. Из столовой доносятся приглушенные голоса. Обрывки фраз долетают до слуха: «на волоске», «глубоко», «гемипарез».

Значит, участь моя не так легка, как пытался представить ее Элизбар. Иначе что может означать «на волоске»? Слово «глубоко» мне так и не удалось увязать с чем-нибудь. «Гемипарез», насколько я знаю, — это нарушение кровообращения в сосудах головного мозга. Значит, моя злосчастная жизнь и в самом деле висит на волоске. Потому Элизбар был так растерян, не знал, что сказать, хватался то за школьные годы, то за психотерапию, как утопающий за соломинку.

Говоря по правде, грешна наша госпожа медицина: прихорашивает свой приговор ласкающими слух словами вроде гемипарез, инсульт, интубация, инфаркт, коллапс и прочее. Но за всеми ними таится нечто и шепчет: мemento мори. Да, уважаемый Элизбар, — мemento мори!

Запах сирени. Откуда он, этот острый запах сирени? Я открыл глаза и окинул взглядом темный потолок. Солнечное пятно дрожало на нем.

— Как вы себя чувствуете? — спросил меня кто-то.

— Кто мне принес вазу с цветами?

— Ваш сын и дама с заплаканными глазами.

— Вы добрый ангел...

— Только медсестра, к сожалению.

— Нет, вы голубь с веткой мира...

— Пусть по-вашему, только не надо нервничать...

— Теперь я понял, откуда острый запах сирени.

— Вы ошибаетесь, — мягко возразила медсестра, — сирень уже отцвела. Та женщина принесла вам белые розы.

— Почему же пахнет сиренью?

— Не знаю, может, это запах лекарств. Однако заговорились мы... Узнает профессор, вашего голубя снимут с работы, и останетесь без ангела-хранителя.

Медсестра улыбнулась, нагнулась ко мне, достала термометр, испуганно на меня взглянула и стала наполнять шприц.

Словно градина, тяжело упала на железный поднос стеклянная ампула. Вздрогнула тишина.

— Удивительно, как сильно вы простудились в такую жару. Схожу за дежурным врачом. Боюсь пневмонии, — прошептала медсестра и на цыпочках вышла из палаты.

И опять я остался один. Солнечное пятно на потолке выцвело, постепенно исчезло...

... Тело горит. В горле пересохло. Левой рукой никак не могу отыскать графин с водой. Правая мертва. Стараюсь приподняться. Не хватает сил. Хочу нажать кнопку звонка — не дотягиваюсь. Хочу кричать, но мой голос замирает тут же у кровати.

А что это значит — пневмония? Я знал как будто, но именно теперь позабыл. Вспомнилось встревоженное лицо медсестры... Наверное, это слово — участь обреченного... К черту! Главное, чтобы поскорее все это кончилось. Горю... Куда девался графин?.. Воды! Пневмония — красиво звучит...

Тень замаячила возле кровати, потом вдруг подпрыгнула и уселась в кресло у моего изголовья.

— Не узнаешь? — спросил незнакомый гость.

— Нет.

— Присмотрись.

Меня охватила дрожь.

— Неужели ты — это я?

— Да, я — это ты, — кивнула тень.

— Глупости, у меня никогда не было близнеца.

— При чем тут близнец? Я твоя тень... Точнее, твой рок. Я родился с тобой и следую за тобой, хожу твоими стезжками-дорожками. «Ночь рождает день и ночь его поглощает». Таков непреложный закон бытия. Я долго ждал твоей ночи и дождался...

— Значит, ты и есть мой рок?

— В этом мире все живое и неживое рождается, чтобы когда-нибудь преобразиться.

- А тебе что с того?
- Ничего... Развеюсь в эфире... вздохну свободно.
- Стоит ли убивать меня ради этого! Я ведь все же художник.
- Был.
- Если ты мой неразлучный спутник, то должен знать дворец, построенный по моему проекту. Шедевр современной архитектуры.
- Тот, что стоял на перекрестке?
- Да.
- Его разрушили. Он мешал строительству нового дворца.
- Пусть так. Помимо всего, я автор мемориала на Мтацминда!
- Твой проект отвергли.
- Кто меня обокрал?
- Время, мастер, все преходяще...
- Время ни при чем! Пирамиды Хеопса выдержали тысячелетия.
- Их тоже сметет ураган с лица земли. Летосчисления не существуют для Вселенной. Бесконечность безгранична. Бесконечность безвременна. Все остальное тленно... Все живое и неживое... Звезда сорвалась с небосвода и умерла. Моря испарились и образовали облака, и облака произвели потоп... Выветренные вершины обрушились на долины и засыпали их песком и камнями. Видел ты лес, сожженный молнией? Чудовищное зрелище! Застыл опаленный дубняк; деревья с обгорелыми ветвями и почерневшими телами похожи на окаменелых воинов.
- Ты хочешь сказать, что этот мир только разрушение.
- Воистину. Только разрушение. Ребенок лепит из глины фигурки, чтобы потом разбить их — свою мечту. Властелин голубой планеты, человек, строит, чтобы разрушить построенное.
- Не разрушить, а построить лучшее.
- Человек мучается и мечется, чтобы получить право на могильный холмик где-нибудь.
- Нет и еще раз нет, человек мучается и мечется, чтобы вершить добрые дела. Он борется за лучшее будущее.
- Разве твой отец не боролся за лучшее будущее?
- Ну и что же?
- Разве ему не поставили мраморный памятник?
- И что?
- Вскоре жизнь потребовала провести через кладбище новую дорогу, широкую и ровную, как струна. И надо же было, чтобы в глазок теодолита попал памятник именно твоего отца. Памятник срыли, дорогу забетонировали. Она прямая, красивая, глаз не нарадуется.
- Что ты этим хочешь сказать?
- Ничего. Несутся теперь по той дороге тысячи разных машин, перевозят людей, товары, грузы... Жизнь бурлит и переливается через край... Вот истасканная притча с твоей жизни, — захихикала тень и переместилась с кресла на кровать.
- Бессмертие моего отца не в памятнике, а во мне. Я опровергну твою доктрину. Это очень просто. Стоит только изложить ее в обратном порядке. «День рождает ночь и день ее поглощает». Что бы ты представлял из себя, несчастный, если бы не хватало за все живое? Ничто, один короткий вздох, рассеянный в эфире. Недавно ты подкрался ко мне, сбил меня с ног, но не сумел убить во мне тягу к жизни.
- Однако я связал тебя, — желчно ответил рок.
- Развяжи! — приказал я злому року и сам испугался своего голоса.
- Загудели больничные стены. «Развяжи-и-и...» — отозвалось гулкое эхо.
- Пусть будет воля твоя, — буркнул рок и поднялся, — но знай, я вернусь...
- Не к чему... не беспокойся. Я сам тебя найду...
- Не забудь: ты — исток, а я — конец этого истока.
- Тебе недолго придется ждать, я не из числа трусливых. Ты и сам хорошо это знаешь. Почему ты скорчил рожу, не веришь? Ну и не верь, а я побиваю своих детей и завещаю им быть достойными звания человека — строителя нового мира... Обниму внуков, может, расскажу им сказку о добрых феях, которые ухаживали за ранеными героями на подступах к Кавказиони или в степях Сталинграда. Знаешь, что значит ласка для раненого?.. Ласка и материнское тепло — лучшее лекарство из всех лекарств... Так вот, навещу я и своего друга. Дружба тоже лучшее лекарство для калеки... Ты сказал, что мой дворец разрушили. Пройду и туда, где он стоял. Может, где-нибудь в окрестностях валяется камень от какой-нибудь стены моего дворца. Найду его, обниму, обласкаю...
- А дальше? — тень качнулась.

- Я человек слова!
- Помни, со мною шутки плохи.
- Знаю, палач!
- Тень исчезла.



Было жарко. Трудно было дышать. Я обливался потом. Привстал, нет, не привстал, а сорвался с постели. Тотчас же подошел к окну. Отодвинул занавес, схватил правой рукой задвижку и настежь распахнул окно. Утренний воздух ворвался в комнату.

Что это?.. Сон или явь?.. Нет, явь... явь! Я подошел к платяному шкафу. Здесь мой друг укрadкой от врачей спрятала мой выходной костюм. И у нее была надежда на мое полное выздоровление...

Словом, все это не похоже на сон. Присмотрись получше к своим движениям, своим поступкам...

Вот я подошел к шкафу. Открыл дверцу. Оделся без посторонней помощи, завязал галстук и шнурки на ботинках; через окно перемахнул на балкон, по стволу кипариса соскочил в сад и направился к выходу.

Из окна проходной выглянул сторож.

— Вы куда? — спросил он, словно заподозрил что-то.

— Я ночевал у больного, — спокойно объяснил я.

— Что, плох? А кем он тебе приходится?

— Близнец мой. Плохо ему...

Сторож звякнул связкой ключей, отпер двери и пробурчал: «Господи, помоги ему».

Я, улица, солнце, платаны.

Я шел с гордо поднятой головой, шел свободно и вольно. Такой твердой походки никогда у меня не было. Каждый шаг доставлял неописуемое удовольствие. Я жадно глотал янтарный воздух осени и чувствовал, как в жилах клокочет кровь...

«Сон... подумаешь такое!.. Разве во сне различаешь детали и радуешься яркому солнцу? Пьянеешь от запаха цветочных клумб, слушаешь гомон птиц, смотришь на людской поток и улыбаешься каждому прохожему?..»

Я иду не знаю куда... Иду, как лечу, парю в воздухе на незримых крыльях. Люди уступают дорогу, но не замечают меня. Ищу знакомых в толпе, но не встречаю никого. Только раз мельком увидел спину профессора и обрадованный крикнул: «Элизбар!..» — он не оглянулся, прибавил шагу и скрылся за поворотом.

Иду... проспекты, аллеи, фонтаны, дворцы, газоны; Мтацминда, покрытая густым лесом; вдали гора Махата и озеро Лиси. На указателях движения в метро крайние станции «Рустави» и «Светицховели». Ух ты, как вырос мой город! Хотел бы я знать, сколько времени прошло с той роковой ночи...

Смеркается, а я не чувствую усталости, с замиранием сердца иду мой дворец, хочу еще раз полюбоваться своим первенцем. Рок наверняка обманул меня. Дворец труда нельзя рушить!

Я миновал проспект и вышел на площадь. В противоположном конце, прямо против меня, сверкал, как новогодняя елка, величественный дворец. Мраморные колонны его с резными опорами пылали на фоне вечернего неба. Дворец, казалось, горел и не сгорал. Он стоял как памятник силе и мощи.

Я догадался, что именно здесь находился мой первенец. Да, не лгал апостол моей смерти... разрушили...

Ночь. Стою на площади. Хочу подойти к сверкающему дворцу и не осмелю. Хочу обнять его колонны, пасть ниц. Уважение — дань прекрасному, а я данник, и я должен подойти, поклониться.

С благоговением приблизился я ко дворцу, на цыпочках взбежал по ступеням лестницы и у первой колонны опустился на колени; обнял мрамор, приник к нему губами. Вдруг мое внимание привлек пьедестал — высеченный из цельной глыбы, с четырех сторон украшенный мраморными цветами. Ведь это мой мастера по моим чертежам вырезали их!

С волнением обошел я все двадцать четыре колонны и поцеловал все девяносто шесть цветочных узоров, оросил своей слезой, согрел своей лаской.

Между колоннами виднелась надпись из разноцветных камней:

**«Уважайте труд, героизм, любовь!»**

Да, незначителен мой вклад в этот храм, но чист, как снежинка, и волен, как мечта!

Наступила ночь. Дворец растаял. Невидимый паяц опустил занавес.

Знакомое теплое дыхание коснулось лица. Росинка скатилась по щеке...  
Стырываю глаза. В густом тумане вижу ее бледную улыбку.

Она о чем-то спрашивает, но так тихо, что я не могу расслышать. Не отве-  
чаю. Отвожу взгляд.

— Неужели все это было только лишь сном?

Сон?... Такой явный... осязаемый... Торговля с тенью смерти... Людской  
поток на улицах, и я в этом потоке... Солнечные брызги на мостовой, игра те-  
ней и волшебный дворец, украшенный моими цветами...

Неужели я по-прежнему здесь, в палате, где мир измеряется несколькими  
шагами, а мне не по силам сделать хотя бы шаг... Какая насмешка судьбы!

— Значит, все было сном, — огорченно бормочу я.

Глаза у нее становятся большими и наполняются слезами.

Я смотрю в одну точку.

— Не пугай меня, — шепчет она, — ты не знаешь, какая это была кош-  
марная ночь.

— У моего сна тоже кошмарный финал.

— Давай измерим температуру.

Некоторое время мы молчим, предавшись каждый своим мыслям.

— Слава богу, тридцать шесть и четыре, — вздохнула она.

— Норма, — обрадовался и я.

— Профессор всю ночь простоял над тобой.

— Что обеспокоило восходящую звезду медицины?

— Неблагодарный, знал бы, в каком состоянии ты был вчера!

— А все же?

— Метался, стонал, с кем-то ссорился, пытался встать с постели...  
Горел в жару и все сбрасывал с себя покрывало. Дежурный врач перепугался  
и позвонил профессору. Элизбар тотчас приехал. Сделал тебе какие-то уколы  
и вот только что ушел.

— Как ты думаешь, легко вступить в схватку с роком?

— Больной с расстроенными нервами видит все в кривом зеркале, все  
преувеличивает.

— Кто знает, может, крива сама истина, и жизнь человеческая идет по  
кривой, как тропа к заснеженной вершине. Оступишься — и в пропасть...

— Главное, не убить в себе жажду жизни. Тогда покорятся и вершины.

Ее слова растрожили меня. Я вспомнил вчерашний сон и спор со смертью.  
Сейчас мой друг, как волшебница, почти в точности повторила мои слова. Я с  
трудом подавил крик.

— Да, если помнишь, Элизбар мне советовал то же.

— Твой сон сбывлся, тебе лучше. Пойду позвоню Элизбару, он просил...

— Хорошо, ступай, только сперва открой окно. Не хватает воздуха. Зады-  
хаюсь.

— Боюсь.

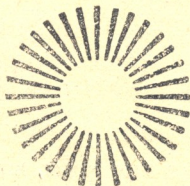
— Не бойся, открой.

Она приблизилась ко мне, тщательно со всех сторон подоткнула одеяло,  
повязала платком голову, открыла окно и вышла из палаты.

Лучи восходящего солнца наполнили комнату. Из распахнутого окна повеяло  
утренней свежестью. Запах хвои пьянил. На вершинах прямых, как свечи, сосен  
висело светло-синее небо. В глубине его узкой полосой лежало белоснежное об-  
лако, как любовь, как надежда.

Немного человеку нужно — один глоток робкой надежды... С жадностью  
проголодавшегося я вдыхал утренний ветерок, слушал щебетанье птиц, не сво-  
дил глаз с бездонного небосвода и чувствовал, как надежда и неодолимая  
жажда жизни овладевают мной.

Перевод Нодара ТАРХНИШВИЛИ





# ПУТИ И ВСТРЕЧИ

## АРАБСКИЙ ПОЭТ—ПОКЛОННИК ГРУЗИИ

«...Тбилиси прекраснее всего на свете...»

Хасун

Наш корабль бросил якорь у сирийского берега. Здешние пейзажи удивительно напомнили мне Грузию.

Первое, что меня поразило в порту Латакии: торговцы мелочным товаром, стремясь привлечь покупателей, устраивали перед своими лавками петушиные бои. Я невольно вспомнил труды оксфордских ученых о философских, психологических и еще каких-то аспектах петушинных боев в Азии и рассмеялся. Это действительно интересное, азартное зрелище, но вполне можно созерцать его и без мантии философа.

— Сегодня в Сирии устраиваются такие же петушиные бои, как некогда в старом Тифлисе, — сказал я одному арабскому торговцу.

— В Тифлисе?! Вы из Грузии? — с любопытством стали спрашивать меня близстоящие арабы.

— Да, из Грузии.

Услышав нашу беседу, вмешались матросы:

— Грузия?! Знаем, знаем! Ваш корабль «Шота Руставели» часто заходит в Латакию!

Юноша, оказавшийся студентом Латакийского университета, сказал мне:

— О Тбилиси слагали стихи сирийские поэты. Правда, до Руставели им далеко, но они воспевали Грузию искренне, от души.

— Кого вы имеете в виду? — заинтересовался я.

— Хотя бы Ризкалду Хасуна!

И юноша прочел мне стихи по-арабски.

— В этом произведении Хасун сравнивает Тбилиси с эдемом, — пояснил он.

Признаться, я не знал этого поэта, но решил смолчать. А мой новый знакомый продолжал:

— Ризкалла Хасун жил и творил в Стамбуле. Враги коварно расправились с ним — бросили в тюрьму. Ему удалось бежать, и, как рассказывают, некий моряк, лаз, довез его до берегов Грузии, где он нашел приют.

Оказавшись в Стамбуле, я всех расспрашивал о Хасуне, но никто мне ничего не мог сказать. И только под конец один библиограф посоветовал обратиться в книгохранилища Стамбульского университета, где хранятся комплекты изданных Хасуном газет.

Вернувшись из Сирии, я начал собирать материалы об этом поэте. Вот что я узнал.

Известный арабский публицист и поэт Ризкалла Хасун (1823 — 1880) был полиглотом: он знал арабский, турецкий, армянский, французский, итальянский, английский, русский и еще другие языки.

Родился он в семье араба армянского происхождения, купца, в городе Алашкерт. Семнадцатилетним юношей приехал в Стамбул, где существовала большая община сирийских арабов. Здесь, в Стамбуле, женился, когда было ему двадцать пять лет. У него родился сын Альберт. Позднее, уже будучи в эмиграции, он посвятил сыну великолепные стихи.

Во время русско-турецкой войны 1853 года Хасун издает первую в арабском мире частную газету «Мирет аль-Ахвал» («Зеркало современных событий»). Газета была широко популярна. По существу, Хасун является одним из основоположников арабской журналистики.

Но Хасун стал жертвой зависти: редактор другой арабской газеты «Джаванб» («Почта новостей») был его конкурентом и врагом, он плел вокруг Хасуна целую сеть интриг. В конце концов его обвинили в неуплате пошлин и засадили в тюрьму. В действительности враги указали властям на его уязвимое место — Хасун незадолго до этого написал трактат «Обнажение ислама», в котором проводил антисламские идеи.

Хасун в тюрьме уже считал последние дни своей жизни, но каким-то чудом ему удалось бежать. Он очутился в Грузии, далее его пристанищем оказался Петербург, затем Париж и, наконец, Лондон, где и завершились его дни.

Выдающийся русский ориенталист, известный специалист по арабской литературе академик А. Крымский пишет, что, как выясняется из лирических стихов Хасуна, он впервые попал на Кавказ в грузинский портовый город Поти, что в устье Риони. В те времена еще не существовало железной дороги из Поти в столицу Кавказа Тифлис (она открылась в 1871—1873 гг.), и Хасун двинулся старым путем, вдоль Риони, а затем по ущелью Куры.

Мы бы добавили: бежав из турецкого плена, Хасун снова попадает в «плен», но на этот раз его пленили природа и люди Грузии.

Величественная красота Кавказа околдовала его, — пишет академик Крымский, — он вспоминает в стихах, что этот замечательный край, Кавказ, земля грузин и армян, есть и его родина, отчизна его предков. Ризкалла Хасун в поэтическом восторге утверждает, что с пейзажами Кавказа не сравнятся цветущие и прекраснейшие пейзажи Сирии, среди них и сам Дамаск с рекой Барад (о Дамаске на Востоке говорят — «джанат машам», что значит — «дышит ароматом рая»).

Тбилиси в стихах Хасуна прекраснее всего. Кахетинское вино несравненно.

Таковы некоторые комментарии академика Крымского к кавказской лирике Ризкаллы Хасуна.

Многие исследователи интересовались творчеством Хасуна. По мнению академика Крымского, лучшим исследованием о Хасуне является статья крупнейшего ориенталиста академика Крачковского, она более содержательна, чем статьи Шейхо (1910), Тараза (1913), Зейдана (1914) и других исследователей.

Эта статья академика Крачковского, как и многие другие его избранные произведения, издана Академией наук СССР под редакцией группы крупнейших ученых, в которую входил и выдающийся грузинский семитолог академик Георгий Церетели.

— До прибытия Хасуна в Петербург мы не можем установить о его жизни ничего определенного, — сожалеет академик Крымский.

В каком году приехал Хасун в Грузию?

«Обнажение ислама» он написал в 1859 году. Его соперник — писатель и журналист Шиднак спустя два года стал жаловаться на него, и в 1862 году, когда Хасун вернулся в Стамбул из Лондона со Всемирной выставки, его арестовали.

Известно, что в 1867 году Хасун покидает Россию, прожив там четыре года. Таким образом, выходит, что он приехал в Поти, а затем в Тбилиси в 1863 году.

Каким путем прибыл он в Грузию?

Академик Крымский полагает, что по малоазиатскому берегу Черного моря.

К сожалению, нам не удалось обнаружить никаких источников о Хасуне на грузинском языке. По-видимому, нет и переводов его произведений на грузинский язык.

Из Тбилиси Хасун через Москву едет в Петербург. Во время четырехлетнего пребывания в Петербурге он переводит Крылова. Из Петербурга, как было сказано, он переезжает во Францию, а оттуда — в Англию, где и по-



ответил, что он согласен, но с одним условием: до начала поединка он должен прочесть книги Нодар-аги, чтобы ощутить соль и перец его слова.

«Добро», — сказали турки, усадили Ходжа Насреддина на осла и торжественно доставили почетного всадника в Айя-Софию. Там моллы, сменяя друг друга, стали читать ему книги Нодар-аги.

Они так увлеклись чтением, всеми теми историями, которые рассказывал им автор, что позабыли все на свете, даже суры Корана! Ходжа Насреддин в первый день хохотал, рта не закрывал, во второй день держался руками за живот, надрывался со смеху, а на третий день до того досмеялся, что дух испустил. Потом и другие моллы со смеху поумиралаи.

Еще рассказывают, что один турецкий мудрец сказал по этому поводу: «Слава аллаху, что Нодар-ага не жил в пору османо-грузинских войн, иначе грузинам и саблю из ножен вынимать не понадобилось бы».

Как бы и что там ни было, а Нодара Думбадзе и вправду называют в Турции «пашой смеха».

## В СТАМБУЛЕ, ПРЕКРАСНЫМ АПРЕЛЬСКИМ ВЕЧЕРОМ

Был спокойный весенний вечер. На стамбульском базаре царило обычное для восточных рынков оживление. Пестрый, веселый, разноголосый, он так и притягивал к себе. Но нам следовало спешить — до отплытия корабля оставались считанные минуты.

В тот вечер стамбульская полиция задержала в порту странного человека — некоего Мустафу-эфенди, который, что-то бормоча, сжигал какие-то фотографии. Из его невнятного бормотания я уловил слова «глаз Мухаммед-паша»...

Выяснилось, что задержанный турок — экстремист, а сжигал он снимки с изображением визиря Оттоманской империи XVI века, первого после султана человека — лаза Мухаммеда-паши. Он сам переснял их из какой-то древней турецкой или арабской книги. Я узнал также, что задержанный полицией Мустафа-эфенди — далекий потомок султанов.

Потом Мустафа стал громко читать какие-то стихи.

— Это сатира на Мухаммеда-пашу знаменитого поэта-сатирика Омера Нефи, — пояснила нам наш гид Зулейка-ханум. — Мухаммед-паша, — продолжила она, — был лазом из Самсуна. К нему благоволители турецкие султаны, и он трижды занимал пост премьер-министра. Это был типичный диктатор, наводивший страх на всю гигантскую империю, от Багдада до Дамаска и от Бейрута до Каира, в его подчинении находились народы Ближнего Востока, которые были подданными султана. В ту пору при дворе султана находился и Омер Нефи, у которого, по некоторым данным, мать была грузинка. От его зоркого глаза ничто и никто не мог укрыться, острием сатиры он поражал высших сановников империи, великих визирей, даже главу турецких мусульман — Шейх-иль-Ислама и нередко самого султана. Не пощадил он и родного отца, высмеяв его за то, что тот был последним ашугом при дворе крымского хана. В одном из стихов поэт признавался, что может написать сатиру и на самого аллаха. В конце концов султан жестоко расправился с дерзким поэтом — ему отрубили голову и насадили ее на кол.

Омер Нефи, конечно, не мог быть равнодушным к грозному «визирию визирей» — лазу Мухаммеду-паше, который преследовал и притеснял поэта.

Однако «пусть никто не думает, что мы пишем сатиру на лазов вообще, — говорил поэт, — мы имеем в виду лишь конкретную личность, а именно — лаза Мухаммеда-пашу. Боже, не дай Грузии услышать имя этого тирана!».

Омер Нефи не всегда писал на Мухаммеда-пашу сатиры: в одном из своих стихов он жалуется на то, что даже тогда, когда он восхвалял «визиря визирей», тот притеснял и преследовал его. К сожалению, часть стихов Омера Нефи (в частности многие о Мухаммеде-паше) утеряна, но та часть, которая сохранилась, вошла в сокровищницу турецкой поэзии.

Омер Нефи ненавидел всякое насилие, мечтал об идеальном государстве, о добре и справедливости. Смело и гордо заявлял он:

**Я не из тех, кто слепо подчиняется аллаху.  
Я предаю суду и само небо,  
Соверши оно несправедливость.**

Хотя следует заметить, что Нефи понимает справедливость очень своеобразно. К сожалению, произведения Омера Нефи не переведены на грузинский язык, а между тем их переводы, несомненно, внесли бы значительный вклад в развитие грузино-турецких культурных взаимоотношений.

Стамбул — Тбилиси



## ВЕНГЕРСКИЙ СКАЗ О СТРАНЕ «КНИГИ ТИГРА»



*Песня славы встает над гранитом,  
Как гранит, наша дружба тверда,  
И поэтому с сердцем открытым,  
Братья венгры, пришел я сюда.*

Г. Леонидзе.

«Если ты не видел голубой Балатон, ты не видел ни моря, ни Венгрии», — говорят мадьяры. Не знаю, то ли подчиняясь этой поговорке, то ли по другой причине, набережная венгерского городка Шюфок-Балатон-Селпак превратилась в подлинную Мекку журналистов. Здесь расположен «Интерпресотель» — международный дом журналистов Европы, в котором существует хороший обычай: каждый журналист или писатель, побывавший в международном доме журналистов, должен оставить в библиотеке свою книгу или книгу какого-нибудь писателя своей страны. Я подарил библиотеке поэму «Вепхисткаосани», сборник стихов Шандора Петефи, переведенных на грузинский язык Григолом Абашидзе, венгерские стихи Георгия Леонидзе и монографию Бено Гордезиани «Зичи в Грузии».

В «Интерпресотеле» я познакомился с молодым венгерским поэтом и журналистом Ференцем Каселем, редактором молодежного журнала «Уи ифюшаг» («Новое поколение»), издаваемого для венгров, живущих в Чехословакии.

...Мы вели долгую беседу о венгеро-грузинских культурных связях, проходя по аллеям парка, мимо реки Шю, воспетой Георгием Леонидзе, и не заметили, как оказались под четырехсотлетними вязами Ракоци. Здесь мы решили, что вместе посетим родное село Михая Зичи — Зала, которое, оказывается, находилось неподалеку.

По пути Касель восторженно рассказывал мне о Беле Викаре, который по просьбе Зичи перевел на венгерский язык «Вепхисткаосани». Ему помогали в этой работе многие грузинские деятели. Великолепно звучали на языке Шандора Петефи чудесные строки грузинского поэта.

О подвижнической работе Бели Викара над переводом рассказывают легенды, говорят, что «три тысячи и одну ночь» скоротал он над гениальной поэмой Руставели, трижды три тысячи седин прокрасились в его волосы, но он завершил-таки бессмертное дело. Говорят, мост дружбы, проложенный между Венгрией и Грузией, подпирают два колосса — Михай Зичи и Бела Викар. Между прочим, слово «мост» одинаково звучит на грузинском и венгерском языках — «хиди»...

Вспоминается Георгий Леонидзе:

**Я услышал, к Дунаю выйдя,  
Как птичье пение над рощею,  
Название моста —  
«хид» и «хиди»  
На двух языках — слово общее.**

... Утопает в каштанниках село Зала. В бывшем родовом имении Зичи находится сейчас Дом-музей замечательного художника, дом, который смело можно назвать очагом пропаганды грузинской культуры в Средней Европе. Огонь в этом очаге поддерживает внучка Зичи — Мария-Александра Роной — большой друг и поклонница Грузии.

В музее много работ художника. Среди них живописный трагический рекем «Аутодафе», полные жажды жизни «Куртизанки», картины на библейские темы, известные во всем мире иллюстрации к эпической поэме «венгерского Гете» — Мадача «Человеческая трагедия», картины парижского и санкт-петербургского периодов... Здесь же — иллюстрации к поэме Лермонтова «Демон», серия «Кавказские сцены» и знаменитые иллюстрации к «Вепхисткаосани».

А вот и поэма Руставели в переводе Бели Викара, статьи о Беле Викаре, опубликованные в венгерской прессе. Мария-Александра Роной заботливо собирает все материалы о Зичи, о Руставели о Грузии. Здесь хранятся монографии о Зичи И. Берковича, Б. Ласло и В. Супка-Магдалины, статьи, напечатанные в газетах «Непсабадшаг» и «Непсава» о Грузии, в частности о Тбилиси.

Мария-Александра Роной попросила меня передать всем грузинским авторам, писавшим или пишущим о Руставели и Зичи, чтоб они посылали ей свои работы по адресу: «Венгрия, Шокод, село Зала, Дом-музей Зичи. Марии Роной», а также опубликовать в грузинской прессе ее небольшое обращение:



ქართული  
ნაციონალური  
ბიბლიოთეკა

«Дорогие друзья!  
Дед мой любил Грузию и Руставели. Прошу вас прислать мне все, что связано у вас о Михе Зичи.  
Я буду вам очень признательна.

Ваша Мария-Александра Роной.  
Село Зала. 1970 год. Июль».

Написав первое предложение по-венгерски, Мария Роной задумалась, потом лукаво улыбнулась и сказала:

— Внучке Михая Зичи следовало бы написать грузинам хотя бы одну фразу по-грузински.

И она попросила меня помочь ей в этом. Долго и старательно выводила она грузинские буквы и, закончив, осталась очень довольной.

— Санта Мария! — воскликнула она. — Как хорошо, что я написала по-грузински. — Она радостно захлопала в ладоши и, как бы оправдываясь, сказала: — Мы, мадьяры, остаемся молодыми душой даже в старости. Беле Викару было за пятьдесят, когда он начал изучать грузинский язык. Но ведь сумел он перевести на венгерский даже «Книгу тигра».

Мария Роной попросила Б. Гордезиани прислать ей второе издание монографии «Зичи в Грузии». С большим уважением говорила она о талантливом молодом ученом Гураме Шарадзе, обнаружившем сорок четыре неизвестных работы Зичи.

Прощаясь с гостеприимной хозяйкой Дома-музея Зичи, я заметил, как блеснула слеза на ее щеке...

— Удивительная страна Грузия, — сказала она, — дед мой даже во сне бредил ею.

Уже на околице к нам подошел старик и сказал:

— Я будачонец, а Будачон — это сердце винодельческого района Венгрии. В старину путник не прошел бы мимо ворот будачонца, не испробовав предложенный хозяином стакан вина. И ни один хозяин не нарушил бы этого обычая, иначе его никогда не выбрали бы на селе старостой. Отец мой слышал от Зичи, что и у грузин есть подобный обычай. Давайте-ка вспомним нашу общую старую традицию.

Мы подняли тост за Руставели и Зичи, за Венгрию и Грузию.

Старик поведал нам также одну легенду.

... Сто лет назад жил, оказывается, в мадьярском селе Зала юноша. Говорят, когда он родился, на его рубашке обнаружили золотую кисть. Однажды пролетала мимо стая диких черных голубей и похитила эту кисть. Опечалился юноша. Стал спрашивать у ветра, у звезд, у морских волн, у дождя, у зари и у вечера, не знают ли они, куда скрылась стая. Никто не знал, куда унесли дикие голуби золотую кисть...

По преданию, когда в Венгрии рождается мальчик, то где-то открывает глаза и девочка, которой суждено стать его нареченной, и в ту же минуту ржет его жеребенок в конюшне, а где-то в кузнице богатырь кузнец кует для него меч.

И только тот юноша будет счастлив, который найдет свою суженую, своего коня и свой меч...

Взял зальский молодец свой меч, вскочил на своего коня и отправился на поиски своей судьбы и золотой кисти...

На пути встретились ему приближенные австро-венгерского императора, пригласили во дворец, подали кисть. Но то была другая, не его кисть.

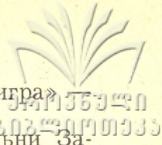
Юноша покинул дворец и продолжил путь. И вот встретились ему подданные двора Белого царя. И они подарили молодцу кисть, но и эта кисть оказалась не той, которую он искал. Тут он служил трем царям, поседел весь, но кисти так и не нашел.

Однажды пришел к нему во сне черный демон и прошептал:

— Вставай, мадьяр, твою кисть голуби унесли в страну волшебной «Книги тигра».

И вот художник, уже седоголовый, снова отправился в путь — искать страну «Книги тигра». Тысячи препятствий преодолел он и наконец достиг заветной страны. Тут он и нашел свою кисть и даже нарисовал ею «Книгу тигра».

С тех пор никто не видел в стране мадьяр ушедшего в юности художника, ибо страна «Книги тигра» стала его второй родиной...



Старик рассказал легенду, потом, окинув нас взглядом, сказал:

— Говорят, герой этой легенды Михай Зичи, а страна «Книги тигра» Грузия...

Вечер опустился на мадыарскую землю... Звонили высокие колокольни Залы... И мне казалось, что они поют хвалу моей Грузии.

Будапешт — Зала — Тбилиси

### ИСТОРИЧЕСКОЕ СЕЛО ЦИПУРИЯ И ГРУЗИНСКИЙ ПЕРВОПЕЧАТНИК Н. ИРБАХ

*Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки.*

Абуталиб сказал...

(Расул Гамзатов «Мой Дагестан»)

Однажды в Отобая, читая мемуары знаменитого итальянского миссионера Арканджело Ламберти, я обратил внимание на карту Колхиды, составленную в XVII веке другим итальянским миссионером Христофором Кастелли<sup>1</sup>. На ней на правом берегу реки Ингури, приблизительно между нынешними Набакеви и Тагиломи, близ Цамхари, латинскими буквами отмечена деревня Ципурия.

А. Чкония, переводчик книги Ламберти на грузинский язык, писал: «С таким названием (Ципурия) сегодня нет ни села, ни церкви» (стр. 193). А жаль, ведь Ципурия была историческим центром, известным в XVII веке в Риме и Константинополе, а позднее во всей Европе благодаря эпистолярному наследию и книгам миссионеров и путешественников.

История Ципурии тесно связана с именем известного деятеля XVII века, дипломата, путешественника, лексикографа и полиглота Никифора Ирбаха (Николоза Чолокашвили), прозванного еще «грузинским Гутенбергом», хотя не он изобрел печатный станок. Он напечатал первую грузинскую книгу в Италии и этим знаменит в истории грузинской культуры.

Одну из генеалогических ветвей известной фамилии кахетинских феодалов Чолокашвили составляла фамилия Ирубакидзе. Представителем именно этой ветви был Никифор, который до принятия церковного сана носил имя Николоз. Приняв духовный сан, Николоз Ирубакидзе (Чолокашвили) стал называться Никифором Ирбаком.

Никифора еще ребенком отправили в Италию, где он получил теологическое образование, изучил европейские языки, а в 1608 году вернулся на родину. Здесь он становится советником и правителем двора кахетинского царя Александра II. Позднее, при дворе Теймураза I, Ирбах был дипломатом, причем на дипломатическом поприще он проявил незаурядные способности. В 1627 году Теймураз I направил Ирбаха послом в Италию. Римский папа Урбан VIII писал Теймуразу I: «С отеческой любовью приняли мы любезного сына Никифора Ирбаха, которого вы прислали к нам».

Именно в этот период Н. Ирбах создает в Риме грузинскую типографию и вместе с итальянскими католиками печатает первые грузинские книги.

Как свидетельствует один из биографов Ирбаха, он «отлил грузинский шрифт — мхедрули, способствовал созданию грузинской типографии и принял участие в составлении грузино-итальянского лексикона. Как известно, этот лексикон впервые в истории грузинской книги был напечатан в Риме в 1629 году Стефаном Паолини».

Известно также, что в этот период в грузинской типографии в Риме было напечатано пять книг. «Западная Европа, новый культурный центр человечества, благодаря этим книгам впервые познакомилась с грузинским языком», — читаем мы в «Библиографии грузинской книги».

Грузинские библиографы отмечают, что «первые книги с грузинским печатным текстом — грузино-итальянский лексикон и грузинская азбука впервые выходят... в Риме (1629)... Это не случайно — в то время миссионеры в Риме проявляли заметную тягу к познанию грузинского языка» («Грузинская книга», т. I, стр. 8).

В Риме грузинские книги печатались в основном для тех миссионеров, которым надлежало организовать очаги веры в Грузии. Таких миссий было не-

<sup>1</sup> Следует заметить, что автором этой карты многие исследователи считают Ламберти.

сколькo в Грузии (например в Картли, в частности в Гори, Гурии и т. д.). Одной из обителей римских послов веры в Грузии была и Ципурия, где жили и работали итальянские миссионеры, целая плеяда европейски образованных людей, оставивших потомству бесценные документы из истории Грузии XVII века. Именно с этой и только с этой точки зрения интересует нас сегодня их деятельность.

Итальянские миссионеры свободно владели не только литературным грузинским языком, но также диалектами. Это позволяло им глубже познакомиться с этнографией Западной Грузии XVII века, бытом картвельских племен.

В Ципурии долгое время жил и работал известный миссионер Арканджело Ламберти, автор целого ряда интересных произведений. Из них в первую очередь следует упомянуть «Описание Мегрелии» (1664) и «Святую Колхиду» (1657).

Правда, эти произведения были написаны в Италии, в частности на родине Ламберти в Неаполе, но в них нашли отражение впечатления и знания, накопленные за годы жизни в Ципурии.

В Ципурии долго жил также итальянский миссионер дон Джузеппе Джудиче из Милана, автор книги «Письма из Грузии», переведенной Б. Георгадзе и изданной в издательстве «Сабчота Сакартвело» (1964) с предисловием и комментариями переводчика.

Миссионеры дон Арканджело Ламберти и дон Джузеппе Джудиче Миланский приехали в Грузию в 1631 году и некоторое время проповедовали в Гори. В 1633 году, по совету Никифора Ирбаха, они перебрались в Мегрелию, к правителю Левану Дадиани, который не без участия Ирбаха превратил Ципурию в центр миссионерства римлян.

В ципурийской миссии, кроме Ламберти и Джудиче Миланского, жил художник и картограф Христофор Каstellли. Именно он составил карту Колхети XVII века, которая дана в книге Ламберти.

На протяжении ряда лет префектом ципурийской миссии был дон Мари Джозеф Зампи, автор книги «Описание Мегрелии», которую перевел и издал в 1887 году писатель Василий Барнов.

Подробное описание ципурийской миссии оставил известный путешественник и географ XVII века Жан Шарден, который по пути из Англии в Персию, ко двору Шах Аббаса II, на несколько недель остановился в ципурийской миссии. Об этом он обстоятельно рассказывает в книге «Путешествие в Грузию».

Любопытные сведения о Ципурии мы находим и в книге известного грузинского историка Михаила Тamarашвили «История католичества среди грузин», которую можно считать самой развернутой летописью ципурийской миссии. Немало сведений о Ципурии заключают в себе документы, хранящиеся в музеях Рима, Ватикана, Константинополя.

Сохранилась картина Христофора Каstellли «Одиссей и его история». На этом же полотне изображены пейзажи Ципурии. Следовательно, мы можем с полным правом утверждать, что у истоков Ингури, в окрестностях нынешнего Тагилони, уже в XVII веке были знакомы с поэтическим шедевром Гомера.

Известна также целая серия уникальных рисунков Христофора Каstellли, отображающих быт Грузии XVII века и являющихся драгоценнейшим источником познания прошлого нашей страны. Каstellли принадлежат также зарисовки видов Ципурии.

В ципурийской школе обучали грузинскому и латинскому языкам, теологии; изучались, конечно, церковные книги. Возможно также — рисование и музыка. В книге «История католичества среди грузин» М. Тamarашвили приводит документ, датированный 16 сентября 1655 года, в котором ципурийские падре общались в Рим: «Сейчас у нас обучается 10-летний мальчик, который хорошо знает грамоту и читает наизусть молитвы на родном и латинском языках. Когда он читает, им нельзя не залюбоваться...». И далее: «С большим усердием воспитываем мы детей, которые находятся у нас...».

Из Ципурии детей отправляли на учебу в Италию. С целью пропаганды католичества римский папа обосновал в Риме коллегию, в которой получали образование юноши из разных стран. Там учились и посланцы из Ципурии. Одного такого посланца из Колхиды позже описал великий Гете в одном из своих произведений.

Михаил Тamarашвили публикует документ, отправленный ципурийским падре в Рим, в котором сказано: «Всем безвозмездно мы даем всевозможные лекарства, когда к нам обращаются, а это случается почти ежедневно». Видимо, падре были и искусными фармацевтами. Подобные документы свидетельствуют о том, что Ципурия, вероятно, была также одним из центров медицины в Западной Грузии того времени.



В Ципурии, несомненно, могла быть развита и география, в частности картография. Свидетельство тому — дошедшая до наших дней карта Мегрелии, составленная Кастелли («Описание всей Колхиды или современной Мегрелии от реки Коракси (Кодори) до Фазиса (Риони)» (см. Джузеппе Джудиче Миланский «Письма о Грузии», Тбилиси, 1964). Карта эта издавалась несколько раз на латинском и грузинском языках. На ней указана и Ципурия со всеми своими церквями и крепостной стеной. Правда, прямого указания на то, что эта карта составлялась в Ципурии, нет, но известно, что именно здесь протекала в основном деятельность Христофора Кастелли, и после тщательного знакомства со всеми уголками Колхиды он, несомненно, должен был начать работу над картой. Ведь в Грузии Кастелли прожил целых 20 лет!

Ципурия была значительным культурным центром Колхиды позднего средневековья. В ее библиотеке хранились церковные книги и напечатанный в Риме грузино-итальянский лексикон, грузинская азбука, поэмы Гомера и другие книги.

Заслуживают внимания письма Христофора Кастелли, который одно время был настоятелем ципурийской миссии. Вот выдержки из них:

«Народности, живущие в горах Кавказа и на их склонах (которые неисчислимы), не имеют своей письменности и не пользуются грузинским алфавитом... Чтоб помочь им, я придумал новые буквы, составил книгу. Она им понравилась. Потому есть надежда, что они примут этот алфавит. Возможно, я смогу прислать вам один экземпляр этой книги...» (М. Тамарашвили «История католичества среди грузин», стр. 198).

Следует предполагать, что на основе грузинского алфавита (хуцури и мхедрули) Христофор Кастелли в XVII веке составил алфавит для одного из кавказских племен. К сожалению, алфавит этот не сохранился.

Ципурия в пору своего расцвета была также торговым и экономическим центром. Здесь устраивались базары, имевшие много общего со средневековой ярмаркой.

Арканджело Ламберти писал: «Базар устраивается в самых разных уголках Мегрелии и в самое разное время. В основном, он бывает в первой неделе сентября в Ципурии, неподалеку от церкви, которая находится в нашем ведении (т. е. в ведении римских миссионеров. — В. А.) Здесь собирается очень много народу, нередко до двадцати тысяч человек... Привозят сюда всевозможные ткани разных расцветок, а также иранские и турецкие шали... Здесь же можно приобрести соль, муку, мед, воск, нитки, местные ткани, кастрюли, медь, железо, цинковки, глиняную посуду, шерсть, быков, коров... все это обменивается, так что денег в обращении даже нет», — заключает Ламберти.

Видимо, Ципурия была и крупным центром торговли. Сюда нередко приезжали даже турецкие купцы.

Деятельность итальянских миссионеров имела свои положительные стороны. Так, например, они выступили против торговли пленными, и в Ципурии нередко находили приют люди, избежавшие рабства.

Требование запретить торговлю пленными, поддержанное беднотой, в основном крестьянами, безусловно, носило передовой характер.

Ципурия была своеобразной дипломатической резиденцией, она напоминала канцелярию внешних дел Левана II. Здесь послами составлялись деловые письма, эпистолы к римскому папе, благодаря которым он мог узнать о европейской ориентации в политике правителя этого грузинского княжества, а также других.

Миссионеры Ципурии нередко исполняли роль послов одишского правителя в Риме. Так, например, в 1643 году послом к папе Иннокентию X был отправлен дон Джузеппе Джудиче, которого на пути из Рима турки захватили в Константинополе, объявили лазутчиком, заключили в тюрьму, где он и умер в 1646 году.

Вот как описывает Ципурию известный европейский путешественник Жан Шарден: «Сипурия — так называются две маленькие церкви, одна принадлежит мегрелам, другая театинцам. Обе церкви стоят в большой ограде, выстроенной театинцами. В ограде же несколько деревянных домов, таких, какие здесь обычно строят: одни двухэтажные, другие одноэтажные, у каждого монаха свой дом».

Сипурия, упомянутая Шарденом, и Ципурия, о которой писал Ламберти, — один и тот же географический пункт.

Таковы, в общем, сведения о селе Ципурия, которыми мы располагаем.

Часто бывая в Колхиде, я невольно думаю о судьбе Ципурии, преданной забвению.

В Тагилони не только старожилы, но и совсем молодые люди знают, где находилась Ципурия. Близ Цамхари, на безымянном притоке Ингури, в густом орешнике мне показали развалины крепости... Место это в точности соответствует географическим координатам Ципурии, указанным на карте Христофором Каstellи.

Да, некогда здесь проходили пути на Рим и Константинополь, теперь же травой заросли все тропки.

Правда, в новые века проложены новые пути в неизведанное, но тем более бережно надо хранить то, что донесла до нас история. Не следует предавать забвению и прошлое Ципурии, оно заслужило память потомков.

История Ципурии тесно связана с именем замечательного сына грузинского народа — Никифора Ирбаха, и потому Ципурия должна стать его мемориалом.

Большая заслуга в изучении прошлого Ципурии, в освещении ряда вопросов, связанных с ней, принадлежит краеведам и историкам, педагогам и журналистам М. Чкадуа, Б. Ардашелиа, Н. Шониа, М. Пачкориа и другим. Это патристическое начинание следует поддержать, тем более что изучение истории Грузии XVII века немислимо без летописных источников Ципурии.

Было бы неплохо также сделать Ципурию местом встреч юных краеведов и историков, художников и полиглотов, географов и путешественников, литераторов и этнографов.

Это зависит, в основном, от инициативы местного краеведческого музея, филиалом которого могла бы стать Ципурия.



# ПЕСНОПЕВЕЦ „КРАЯ, ОБВИТОГО ЛОЗАМИ“

**П**РИБЛИЖАЛСЯ ураган Великой Октябрьской социалистической революции. Первым из поэтов Грузии его ощутил Галактион Табидзе. Среди тех, кто воспевал Октябрь, он раньше других понял, что поэтический дух, стесненный узкими рамками декадентской литературы, никак не сочетается с обновляющейся революционной действительностью. А поняв это, попытался выразить в своей поэзии остроту политической ситуации посредством здоровых поэтических образов и их реалистического осмысления. Такие же настроения владели тогда и другими «голубороговцами». В годы революции все они почти одновременно покинули родной Кутаиси и обосновались в Тбилиси.

Именно в это время с ними познакомился Георгий Леонидзе. Тонкий поэтический вкус и подлинное дарование молодого поэта не могли остаться незамеченными. Вдохновленный его «золотым сердцем» и «пламенным лицом», Паоло Яшвили посвятил девятнадцатилетнему Леонидзе стихотворение, в котором с поразительной прозорливостью нарисовал образ будущего большого поэта. Интересно отметить, что энергия и внутренняя сила этих строк Паоло сродни лучшим леонидзевским стихам.

Георгий Леонидзе был самым молодым среди «голубороговцев». Но это была сильная личность, наделенная светлым поэтическим талантом и открытым характером, благодаря чему очень скоро и без особых усилий стерлась возрастная грань между ним и его старшими собратьями по перу, все еще остававшимися в плену мистических устремлений символистской поэзии. Этому способствовало также господство в Грузии мелкобуржуазного режима меньшевистского правительства. Но после того, как грузинский народ радостно встретил победу социалистической революции, они окончательно убедились в том, что символистско-декадентская поэзия утратила почву в Грузии, и приступили к идейной переоценке своего

творческого кредо, которая продолжалась вплоть до 30-х годов. Версификационные новшества периода увлечения модернистской поэзией были использованы ими в ходе становления новой советской поэзии, и многие из них добились в этом направлении больших успехов. Так они вернули грузинской поэзии двадцатого века животворную силу ее великой предшественницы. В этом заслуга Георгия Леонидзе также несомненна.

Из родного Патардзеული поэт принес буйное цветение пшати и персика, безграничную любовь к прошлому своей родины. Характерно, что первое свое стихотворение он посвятил древней столице Грузии—Мцхета. А уже потом—более полувека — его сильный, густой голос звучал в Тбилиси, который также стал его неизменной любовью. Этот город занимает особое место в творчестве Леонидзе, который, вернувшись подчас после загородного ночного вояжа, любил вопрошать: «Так что нам, поэты, поделаться с этим тбилисским утром?». Пожалуй, никто из поэтов его поколения так щедро и впечатляюще не писал о столице родной республики.

Разорвав пути декадентской, символистской поэзии, отрекшись от жестких канонов модернизма, Георгий Леонидзе дал волю своему поэтическому слову, и его стих обрел поразительную свободу и эластичность. С одинаковой силой воспевал он сегодняшний день Грузии и ее трагическое прошлое.

...Вот стоит он у метехского моста и до головокружения вглядывается в бурлящие водовороты реки. А в сердце ему словно проникает звон «золотых колокольцев горгасалова ястреба». И он мысленно рисует Тбилиси в окружении обступивших его гор цвета чгуна, в густой зелени садов... Да, незабы-



звемы его стихотворения, посвященные Тбилиси. И «Тбилисская весна», и «Тбилисский рассвет», и «На рассвете молочница придет», и «Так что же делать, поэты!», и «Рассвет в крчанисском саду», и многие другие. Всех не перечить...

В любви к Анчисхати и Вардисубани, Крцаниси и мосту Арагвинцев мужало и зрело поэтическое слово Георгия Леонидзе, его юношеская мечта восславить солнце и землю Грузии.

Среди современных ему поэтов Г. Леонидзе стоял как бы особняком. Творчество его своеобразно, самообитно, а поэзия не испытала сколько-нибудь заметного влияния каких бы то ни было литературных школ. Вращенная на грузинской почве, она своими корнями уходит в глубины грузинской народной поэзии. Вот как сказал он сам о своей лире:

**Мне не нужна обигранная лира,  
Меч Саакадзе, погнутый в сраженьях,  
Мне не нужна пригубленная чаша,  
Чужим сияньем яркое светило,  
Чужою дрожью трепетавший парус...  
Нашел я песню громкую свою,  
Свои слова, пронзающие сердце,  
Слова, что льются, словно вешний**

**ливень,**

**Что радугой сверкают многоцветной...**

(Перевод Э. Анианишвили)

Из великих представителей грузинской классической поэзии Георгию Леонидзе ближе всего творчество Давида Гурамишвили и Важа Пшавела. Благословенный последним, он смело проник в святая святых грузинского слова и, как в свое время Важа, жадно впитал его полнозвучие и мудрость.

Вот строки, адресованные им знаменитым предкам:

**Я слышу твой чоигури, Важа!  
Давид, как сладок мне твой стих!  
Прошу вас, предки: сила ваша  
Пускай коснется строк моих!**

**И я, выковывая слово,  
Познал терпение и труд,  
И путь ваш прохожу я снова...  
О, как нелегок он и крут!**

**Свои десницы протяните  
Могучие на помощь мне  
И высечь искру научите,  
И век гореть в святом огне!**

**Чтоб реяли на гребне вала  
Тугие паруса стихов,  
Чтоб буря сердце развевала,  
Как флаг, мечты моих отцов!**

**Чтоб мог воздать я полной чашей  
За вашу чашу красоты,  
Чтоб холмик мой вырос до вашей  
Высокогорной высоты.**

**И чтоб стихотворенье это  
Без фальши прозвучало там,  
Где по-грузински два поэта  
Поют народам и векам.**

(Перевод П. Вронского)

Живое, яркое, берущее за сердце поэтическое слово Г. Леонидзе несомненно родственно художественному наследию Давида Гурамишвили и Важа Пшавела. Пропущенное как бы через горнило народности, оно столь же поэтично и свободно, многозначно и эмоционально. В нем так же бьет ключом неукротимое жизнелюбие. Это выражается и в том, что Георгий Леонидзе прежде всего — певец мира, освещенного солнцем. Он безгранично любил жизнь. Ему хотелось везде побывать, все постичь и познать, до дна испить чашу любви. До самых последних минут своей жизни поэт был на «ты» с юностью, был одержим мечтой о вечной юности. В подкупающе доверительных строках «Песни первого снега» поэт, схватив заряженное ружье, бросается в погоню за счастьем юношеских дней и снов, за стаей разметанных соколом голубей — желаний отрочества... Воспламененный радостью заветного мига, он восклицает:

**Но хочу навесть в безлуиность  
Заряженное ружье,  
На коне настигнуть юность,  
И попасть, и сбить ее.  
Бах! Но стая — за рекою.  
Либо сим же часом вплавь,  
Либо уж махни рукою  
И надеяться оставь.**

(Перевод Б. Пастернака)

Его «Встреча с кипчаком» как бы отдаленно перекликается с народным стихотворением «Повстречался я с кипчаком». На высокой напряженно-звенящей ноте в нем переданы горячие чувства, обуревающие молодца. Внезапно волей поэта мы переносимся в затемненные лабиринты истории, к разбитым мцхетским крепостям и ветхим храмам, озаренным неверными бликами свеч. Затем в рассеченном черепе поверженного кипчака нами угадывается участь всякого захватчика, и мы видим клубы тумана из близких сердцу поэта ущелий родной Картли. Ощущение счастья сегодняшнего дня он роняет нам в душу, как нежные лепестки роз.

Поэзия Георгия Леонидзе обрела зрелую силу и законченность в стихотворениях именно такого накала. В его «Кипчакской ночи», «Плотовщиках», «Яхонтах-близнецах», «Уйдет стих и унесет с собой», «Цесарке», «Развалинах Уджармы», «Слушаю звук майских струн», «Крае, обвитом лозами», «Герое и поэте», «Ночи Иверии», «Ниноцминдской ночи» и других во всей пол-



ноте проявилась щедрость сердца и широта характера их автора. И потому счастье и скорбь он большей частью передает одинаково возвышенно:

**Не вернешь, не крикнешь: стой!  
И джейрана тенью  
Канет трепет ночи той,  
Дня сердцебиенье.**

Или еще:

**И возврат стиха к чему?  
Я уже не солнечен,  
Молодость нужна ему.  
Пусть уходит с облаком.**

И далее:

**Ты звенел, как хочется,  
Лег в земле расколотым,  
Стих уйдет — с ним дочиста  
Все, что знала молодость.**

(Перевод Н. Тихонова)

Вот этим-то «все, что знала молодость» и отмечено каждое лирическое творение Г. Леонидзе. «Знаком молодости» освещена и его «Ниноцминдская ночь», завоевавшая нашу особую любовь. Поэт посвятил его своим друзьям поэтам. Написано оно 26 марта 1926 года. Видимо, эта дата была ему особенно дорога... В этот день он провел незабываемые и счастливые минуты в их дружеском кругу.

В поэзии Леонидзе многоцветно переливаются и сверкают зеленые горы, белоснежные суровые вершины, бурлящие реки, клонящиеся к земле тяжелые колосья, увитые вьюнком изгороди и придорожные акации. И чудится, что совсем уже иначе светит нам солнце, иначе мерцают звезды, и вместе с поэтом мы преисполняемся ни с чем не сравнимым чувством родины. Читаешь его стихотворения о Грузии и слышишь грохот низвергающихся водопадов, клич оленей, свист соловьев, клекот орлов. Явственно видишь, как над горой, подобно чугунку с молоком, опрокинулась луна, и кажется — вот ты уже на берегу Алазани и скошенные травы дурманят тебе голову... Так незаметно подпадаешь под обаяние поэзии Георгия Леонидзе, погружаешься в мир, прогретый лучами ее солнца и приобщенный к подлинной поэзии, еще беззаветней влюбляешься в «край, обвитый лозами».

Имя большого поэта Георгия Леонидзе снискал прежде всего своими патристическими стихотворениями. С огромной радостью воспевал он подъем духовной культуры и благосостояния грузинского народа. Поэта искренне радовал каждый его шаг по пути обновления и прогресса. Вдохновленный победами родной страны, он восклицал:

**Я торжественным пламенем новой  
эпохи одет!**

**Я увидел, как в Грузии молнии  
врезали след**

**В стародавний церковный покой.**

(Перевод К. Липскерова)

О родине, о своей любви к ней он поет удивительно нежно, мягко и даже печально. Видимо, в его неукротимой душе таились неистраченные запасы тепла и чистоты. Так, в стихотворении «Фреска ангела» он сравнивает отчизну с лицом любимой женщины.

В таких же нежных, трепетных тонах исполнена «Ночь Иверии». Грустные пейзажи Картли и навевающие печаль картины прошлого, вызванные к жизни в этом стихотворении, наполняют нашу душу волнением, а сердце заставляют биться учащенной от любви к родине:

**Спой о Картли с грустью бывалой  
Иль о милой, о силе чар ее...  
Вырывающийся из Дарьяла,  
Уплывает журавль в Хазарию.**

(Перевод В. Державина)

Читая «Развалины Уджармы», «Тринадцатый век», «Путешествие», «Картлис цховреба», «Приписку к «Картлис цховреба» и другие лирические шедевры Георгия Леонидзе, созданные на историческом материале, мы вместе с поэтом скорбим о трагической судьбе разоренной и погранной родины:

**Город, улицы, огни, фигуры,  
Зарево, и вдруг — пожара гарь,  
И опять мне снится век Тимура,  
И на помощь я лечу, как встарь.**

(Перевод Б. Пастернака)

Вряд ли в грузинской поэзии есть второе стихотворение, в котором бы столь впечатляюще была передана трагедия грузинского народа...

А вот строки из «Картлис цховреба»:

**Перелистай страницы —  
Каждая — крик страдания,  
Стали звон исступленный,  
Богатырей деяния.**

**Волосы, дыбом вставшие,  
Испепеленное небо...  
Это — страдание родины.  
Это — «Картлис цховреба».**

(Перевод Д. Голубкова)

Сколько горя, боли и печали в этих словах!

Наряду с приведенными выше трагическими картинами, поэт показывал силу творческих возможностей грузинского народа. Он с гордостью вспоминал древних переписчиков, зодчих, худож-

ников, поэтов... Многих из славных деятелей прошлого он часто изображал в своих стихах. Так, забываемый его стихотворения о Руставели и «Витязе в тигровой шкуре», о Сулхане-Саба Орбелиани, «что собирал грузинское слово подобно целебным травам», и о многих, многих других.

Но столь же высоко ценил поэт духовную культуру и историческое прошлое братских народов и народов зарубежных стран, неустанно воспевая их братство.

У него было большое, доброе, любящее сердце. В годы Великой Отечественной войны его слово сверкало и разило, как клинок, выхваченный из ножен. Со свойственным ему размахом и темпераментом Георгий Леонидзе в годы великого испытания создал лучшие свои стихотворения. Они вселяли в сердца бойцов стойкость и негибаемость. Его «Бидзина Букураули», «Где ты, москвич?», «Рассказ грузинского всадника», «Грузинский юноша, побывавший в Берлине», «Героям Родины», «Вернувшемуся домой» и многие другие — о молодых героях, беззаветно преданных Родине.

Он всегда считал, что молодость и стих неразлучны. И боготворил молодежь. И смотрел в будущее с надеждой и радостью. Радость жизни он особенно остро чувствовал в последние годы. «Дубовый лист», «Мой сад», «Восходит луна, любимая, луна восходит», «О, малый камень в Патардзеули» и целый ряд других стихотворений — свидетельство тому. С юношеской энергией разъезжал он по Грузии и каждый раз возвращался в Тбилиси, обогащенный новыми впечатлениями. Ведь это был год его юности:

**Что я такое без Тбилиси?  
Исчезнет все, что начато;  
Без лучезарной этой выси  
Я только пепел, прах, ничто.**

(Перевод И. Сельвинского)

Навещал и родное Патардзеули, отцовский дом... Окидывая там мысленным взором пройденный путь, вопрошал:

**Что же ты скажешь о нас,  
божья мать, —  
будем со славою  
или бесславными?  
Кто я, к примеру,  
школяр или мастер?  
Чем увенчаешь —  
тернием, лаврами?**

(Перевод Е. Евтушенко)

А сам всегда стремился к новым высотам. «Ты не ведаешь, стих, устаю, сти! — говорил он и молил: — Поднимись еще раз, стих!» И не щадил себя, извлекая на свет божий передуманное и перечувствованное. Не страшился творческих мук, не боялся испепелиться от столкновения с солнцем поэзии.

Он всего себя отдавал родине, грузинской национальной поэзии. Прекрасно понимая значение своего творчества для народа, веря в грузинское слово, поэт с гордостью заявлял:

**Пусть мой стих мне ответит —  
есть ли все-таки в нем  
прежний натиск и ветер,  
прежний гроз перегром?**

**Я хотел ненасытно,  
чтоб мой —  
на века —  
были меч Ниноцминды  
или клич кипчака.**

(Перевод Е. Евтушенко)

А одно из своих стихотворений поэт так и назвал — «Грузинский язык».

**Язык грузинский, —  
жадно и легко  
я шил тебя,  
как дети — молоко.**

**Меня взрастили  
соль твоя и мед,  
меня крестили  
боль твоя и пот...**

**Язык грузинский,  
ты — вся жизнь моя!  
Ты — виноградник.  
Виноградарь — я!**

**Ты петь стремишься,  
Ты всегда таков!  
Как кровь, струишься  
в жилах у стихов.**

**Ты вдохновляешь  
старца и юнца,  
и, как народу,  
нет тебе конца!**

**Я счастлив тем,  
что все тебе дарю,  
что о тебе  
тобою говорю.**

(Перевод Е. Евтушенко)

Написано это стихотворение в 1956 году. Оно звучит как исповедь...

## В ПОИСКАХ ПРОТОТИПА

Вот уже более восьми десятков лет исследователи проявляют горячий интерес к рассказу М. Горького «Мой спутник». Объясняется это, наверное, прежде всего тем, что проблема социального спутника с новой остротой возникает на каждом новом этапе общественного развития.

Интерес исследователей к рассказу подогревается и тем, что вокруг него с момента публикации «Моего спутника» развернулась острая полемика. О нем высказывались самые противоречивые, иногда даже взаимоисключающие мнения. В литературе о пролетарском писателе поныне существует множество самых различных толкований идеи рассказа, зачастую односторонних, не подкрепленных необходимыми аргументами суждений. Не до конца разъяснена история написания «Моего спутника», нет единого мнения о его прототипах, не установлено соотношение фактического с художественным вымыслом и т. д.

Неправильному, одностороннему истолкованию идейного замысла автора «Моего спутника» в значительной мере способствовала ложная позиция сотрудников газеты «Цюбис пурцели», опубликовавших надуманную версию путешествия прототипов героев рассказа Горького. Несостоятельность этой версии путешествия Горького из Одессы в Тбилиси с неким С-дзе, как нам кажется, делается совершенно очевидной, когда с помощью новых документов возникает возможность раскрыть прототип одного из главных персонажей рассказа — Шахро Птадзе.

24 октября 1903 года в газете «Цюбис пурцели» появилась статья «Спутник Максима Горького»<sup>1</sup>. Авторы ста-

тьи, ссылаясь на рассказ кондуктора С-дзе, предлагают новое окончание путешествия героев рассказа Горького. Причем составители этой версии в основном пересказывают содержание «Моего спутника» и лишь высказывают свое недовольство финалом рассказа, где беспощадно вскрывается вся мерзость и подлость характера Шахро Птадзе, спутника героя — рассказчика Максимыча.

Предложенное газетой окончание, а также другие частные возражения автору «Моего спутника» явно рассчитаны на реабилитацию отрицательного персонажа. Важно отметить и то, что вступление и заключение к статье «Спутник Максима Горького» непосредственно исходят от редакции, которая не скрывает своей заинтересованности в стремлении убедить читателя, как логична и правильна именно такая концовка рассказа. Старания их не были тщетными, и версия эта сразу же получила широкое распространение. О ней сообщили даже Горькому<sup>2</sup>.

После появления этой новой версии путешествия долгое время прототипом образа Шахро Птадзе считался некий «С-зе» (статьи, такое сокращение грузинской фамилии выглядит безграмотным, поскольку грузинский звук «d» передается русскими буквами «дз»). Лишь в 1920 году в статье М. Л. Слонимского<sup>3</sup> появляется уже фамилия прототипа — «Сугуридзе». Однако немного позже, в 1925 году, в книге «Максим Горький. Биографический очерк (по новым материалам)» находим другую фамилию прототипа — «Цулукидзе». Эта фамилия прочно утвердилась в литера-

<sup>2</sup> См.: М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 28, стр. 292, а также газ. «Новое обозрение» от 30 октября 1903 г., «Одесский листок» от 31 октября и 2 ноября того же года, «Новости дня» от 2 ноября 1903 г. и др.

<sup>3</sup> См. журн. «Вестник литературы» № 4, 5.

<sup>1</sup> Статья не подписана, а в литературе о Горьком, включая полное собрание сочинений, везде ошибочно указано, что ее подписывает С-дзе.

туре о пролетарском писателе. Что же касается переводчика «Моего спутника» на грузинский язык Гиунашвили, то он фамилию героя Горького — Птадзе перевел, как «Фтадзе», а это в свою очередь породило новых желающих по фамилии «Фтадзе» выдать себя за спутника Горького.

Откуда же проистекает столько разноречивых толкований одного и того же факта?

Биограф Горького М. Л. Слонимский, составляя хронику жизни и творчества писателя, текст ее, уже отпечатанный на машинке, давал Горькому, который тщательно читал его, делал замечания, вносил исправления, и порой очень существенные. Исправленный и дополненный текст, заново его перепечатал, М. Л. Слонимский еще раз относил писателю, который вносил очередные исправления. Таким образом были созданы два варианта хроники биографии Горького, которые сейчас хранятся в архиве великого пролетарского писателя.

В первом варианте хроники, который читал Горький, не было ничего сказано о новой версии путешествия писателя в 1891 году. Однако Слонимский, получив текст от Горького, на полях приписал: «В грузинской газете «Цнобис пурцели» некто С-зе, спутник Горького, рассказывает о путешествии будущего писателя из Одессы в Тифлис. По его словам, из Одессы он вышел с Горьким 18 августа в 12 часов дня, в Николаеве они были через семь дней, оттуда направились через Херсон, Симферополь, Ялту, Феодосию, Керчь, Екатеринодар, Владикавказ в Тифлис. Все подробности рассказа С-зе почти буквально совпадают с рассказом Горького «Мой спутник», особенно же то, что, по признанию С-зе, «один Пешков доставал и деньги, и еду», жалея своего спутника и говоря ему — ты непривычен к труду. С-зе, как и Шакро в «Моем спутнике», подойдя к Тифлису, не хотел войти в него засветло, боясь повстречать знакомых, и, войдя в город ночью, как-то (С-зе неясно объясняет причину) разошелся с Пешковым»<sup>1</sup>.

В процессе перепечатки текста М. Л. Слонимский продолжает поиски и в заново отпечатанный текст вносит ряд уточнений: он перечеркнул сокращение «С-зе» и над ним написал фамилию «Сугуридзе», а внизу сделал примечание «подпись С-зе». Это могло бы прои-

зойти не позже июня 1920 года, поскольку в статье М. Л. Слонимского «Новое о Горьком», опубликованной в журнале «Вестник литературы», прото-типом Шакро Птадзе уже назван «Сугуридзе».

Когда Горький читал второй вариант текста, на той странице, где впервые появляется фамилия прототипа «Сугуридзе», внизу он написал его новую фамилию — «Цулукидзе» и в конце поставил восклицательный знак<sup>2</sup>, видимо, желая обратить внимание биографа. В дальнейшем М. Л. Слонимский везде заменяет фамилию «Сугуридзе» на «Цулукидзе»<sup>3</sup>.

Горький меняет только фамилию прототипа, а имя «Шакро» оставляет без изменения, в то время как редакция «Цнобис пурцели» категорически утверждала, что «С-дзе» по происхождению «не князь и звать его не Шакро».

Однако почему же память Горького сохранила именно фамилию «Цулукидзе»? Или это случайная ассоциация?

В пяти номерах газеты «Нижегородский листок» за ноябрь 1896 года М. Горький напечатал большой очерк «Разбойники на Кавказе». В этом очерке, опираясь на личные впечатления, полученные во время путешествия в 1891 — 1892 годах, он широко пользуется литературными источниками. Упомянув статью Лахвари, опубликованную в «С.-Петербургских ведомостях» в мае 1896 года, он приводит из нее цитаты и целый ряд сведений, почерпнутых из книги А. С. Френкеля «К истории разбоя на Кавказе. Тато Цулукидзе». «Тато Цулукидзе — знаменитый разбойник, приводевший в трепет весь Тифлис своими дерзкими грабежами и убийствами (ныне повешенный), первоначально был задержан по подозрению в какой-то незначительной краже, — пишет М. Горький в своем очерке. — Следовательно, получивший полицейский акт, не мог своевременно допросить Тато и постановил: ввиду того, что Тато Цулукидзе человек весьма «подозрительный», оставить его под арестом при полиции. Но полиция вскоре донесла следователю, что «Цулукидзе по неосторожности полицейского служителя Коста Давлишвили бежал и к розыску его приняты меры». Он был разыскан как раз через четыре года, в течение которых держал в страхе Тифлис и успел совершить

<sup>2</sup> Архив А. М. Горького. Рав-ПГ-15-2-3-224.

<sup>3</sup> Архив А. М. Горького. Рав-ПГ-15-2-3-225. Такое исправление нам кажется неправомерным, эти две фамилии совершенно разной конструкции, разные здесь и основы.

<sup>1</sup> Архив А. М. Горького. Оав-ПГ-15-2-2-17. Эта версия путешествия с незначительным изменением приведена во всех биографических книгах И. А. Груздева и других авторов, в том числе в «Летописи жизни и творчества А. М. Горького».

восемь убийств и десятка полтора разбоев. Его приговорили к каторге, но однажды, когда его вели из тюрьмы к следователю для производства еще какого-то дополнительного дознания, он опять бежал. Бегство произошло около «духана», где остановились арестант и конвой, для того чтобы дружески распить кувшин вина. После этого бегства Цулукидзе долго еще — почти три года — убивал и грабил, пока наконец его не поймали: военный суд приговорил его к виселице»<sup>1</sup>.

Эти сведения, как было сказано, взяты из книги Френкеля (ср. стр. 18, 53, 54 и др.). Описание казни в Гори, которым заканчивается очерк Горького «Разбойники на Кавказе», очень напоминает описание казни Тато Цулукидзе в указанной книге Френкеля, особенно созвучно сочувственное отношение народа к разбойникам (ср. стр. 87—91). В том, что Горький воспользовался сведениями из книги Френкеля, нет ничего удивительного, ведь книга пользовалась широкой популярностью у читателей и появилась в продаже в пору, когда Горький жил в Тифлисе. Вот в этой-то книге Горький и читал о Шахро Цулукидзе, брате разбойника, который в свое время привлекался к дознанию за содействие в побеге Тато Цулукидзе. Тогда он избежал наказания, но затем пошел по стопам брата, стал заниматься воровством. И хотя его «успехи» были куда скромнее, чем у брата, но и он не миновал ареста и ссылки. Газета «Кавказ» о нем писала еще в марте 1881 года: «1 марта, в 3 участка, в мелочной лавке тифлисского гражданина Парсадана Карапетова, взломан замок с целью кражи, но похищения никакого не учинено. Виновный тифлиссский житель Шахро Цулукидзе околоточным надзирателем задержан и передан местному следователю».

К сожалению, о Шахро Цулукидзе в книге Френкеля написано мало, но сведения, приведенные автором, весьма важны для характеристики прототипа горьковского образа.

Ко времени написания книги Френкеля (1891—1892) Шахро Цулукидзе был выслан из Тифлиса. «Ц-дзе Шахро (Захар) Соломонов, — читаем в книге Френкеля, — грузин; православный. Обвинялся в способствовании к побегу Тато Цулукидзе из-под стражи в 1877 г. Обвинение прекращено; сам он выслан административным порядком из Тифлиса»<sup>2</sup>.

Теперь становится понятным, почему Шахро Цулукидзе боялся днем войти в город и почему, войдя, должен был исчезнуть. Понятно, что «близостетельного рядка» его сразу бы узнали.

«Просматривая волжские газеты девяностых годов прошлого века, — писал М. Л. Слонимский в 1964 г., — я находил рассказы, повести, фельетоны, статьи, очерки Горького, которые не входили в его книги. Некоторые (кажется, даже многие) из этих произведений были забыты и самим Алексеем Максимовичем. Когда я сообщал ему о своих находках, он далеко не все их помнил. Иногда он просил дать ему тот или иной рассказ...»<sup>3</sup>.

Что Горький заинтересовался очерком «Разбойники на Кавказе» — это устанавливается из той же хроники Слонимского. Ведь Горький дважды зачеркивал и не хотел включать в биографию эпизод о казни разбойников в Гори, описанием которого кончается очерк<sup>4</sup>. И если все же в книге о Горьком этот эпизод нашел свое отражение, то надо объяснить это настойчивостью М. Л. Слонимского, который сумел переубедить писателя. В таком случае почти с уверенностью можно сказать, что Горький должен был перечитать очерк «Разбойники на Кавказе», во всяком случае те его части, которые относятся к Грузии. Возможно, это и помогло Горькому вспомнить фамилию человека, послужившего прототипом образа Шахро Птадзе.

Дальнейшего уточнения требует также место возможной встречи писателя с прототипом своего героя. По рассказу «Мой спутник» они впервые встречаются в Одессе, а по другим источникам — на Северном Кавказе или же где-то вблизи Тифлиса.

Современники Горького, ссылаясь на его воспоминания, говорят, что прототипа Шахро Птадзе Горький встретил не в Одессе. Так, например, командир грузинской боевой дружины, охранявшей квартиру Горького в Москве в декабре 1905 года, восстанавливая свои беседы с писателем, еще при его жизни писал: «Уверяю вас, что, когда с берегов Волги направился в Грузию, действительно встретил некоего грузина и вместе продолжили путь. По дороге он много обещал, но как только пришел в Тифлис, между рук и глаз исчез и о нем больше ничего не смог узнать»<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Архив А. М. Горького. Том XI, М., 1966, стр. 8.

<sup>4</sup> Архив А. М. Горького. Рав-ПГ-15-2-2-19-22 и Рав-ПГ-15-2-3-226-228.

<sup>5</sup> «Салитературо газети», № 11, от 14 мая 1933 года.

<sup>1</sup> «Нижегородский листок», № 309, от 8 ноября, 1896 года, стр. 1.

<sup>2</sup> А. С. Френкель. К истории разбоя на Кавказе Тато Цулукидзе, Тифлис, 1892, стр. 106.

О. Ф. Ивина-Лошакова, передавая рассказ Горького о людях, встретившихся ему во время путешествия в 1891 году, пишет, что Горький, восстанавливая пережитое, «стал рассказывать, как уже ближе к Тифлису попался ему спутник», по настоянию О. Ю. Каменской, продолжает Ивина-Лошакова, «Горький тотчас записал этот рассказ почти дословно»<sup>1</sup>.

Однако самый важный аргумент имеется у самого Горького. Если в рассказе «Мой спутник» Максимыч с прототипом Шахро Птадзе встречается в Одессе, то в рассказе «Два босяка» его герой странник со спутником грузином встречается на Кубани, оставляя его там же — дальнейший путь в Грузию он продолжает один. Немало спутников встречал Горький уже на территории Грузии летом и осенью 1892 года (см. «Калинин», «У моря», «Рождение человека», «Разбойники на Кавказе» и др.). И все они обогащали его наблюдения, толкали его к обобщениям. Каждый из героев перечисленных рассказов ярко типичен и художествен, и никому не приходит в голову составлять по ним хронику жизни и творчества Горького. Исключения не составляет и рассказ «Мой спутник». О социальной природе героев, о собирательности характеров созданных им персонажей немало писал и сам Горький.

Мы приведем лишь два эпизода, когда сам Горький ссылается на рассказ «Мой спутник» и полностью раскрывает собирательность характеров его героев; кроме того, он там же подчеркивает широкую обобщенность идейного замысла всего произведения. Еще в 1913 году Горький в письме И. И. Лебединову, изобличая адресата в анархическом устремлении, писал: «Я, как мне думается, достаточно определенно показал прелести животного эгоизма в очерке «Мой спутник». В соединении с жюльнической философией «Проходимца», Луки и Маркуши в «Кожемякине», этот эгоизм и дает то, что нас, русских, губит, — снедающую нас болезнь, которую можно назвать пассивным анархизмом. В корне этой болезни лежит отча-

<sup>1</sup> Архив А. М. Горького, МоГ-5-2-2.

яние, безнадежность, отсутствие веры в свои силы.... Система мышления — злобная Вам, истекает из начала восточного, пассивного, сложившегося у монголов»<sup>2</sup>.

Однако позже Горький еще более рельефно определил социальную природу образа Шахро Птадзе. Вот что он писал в 1919 году о героях «Моего спутника», особенно о Шахро Птадзе:

«Этот рассказ был написан двадцать три года назад<sup>3</sup>. Много пережил я с той поры. И множество спутников, подобных Шахро, прошло рядом со мною по различным путям, сбивая меня иногда с моей дороги. Я не жалуясь на них, не осуждаю (и) себя. Но каждый раз, когда на шею мне садился тот или иной человек, которого надо было куда-то вынести, я нес его, насколько хватало сил и охоты, нес (и) вспоминал Шахро — первого спутника моего — и повторял про себя старую думу о нем:

«Это — спутник мой. Я могу его бросить, но мне не уйти от него, ибо имя его — легион. Это спутник всей жизни, он до гроба пойдет со мной...»<sup>4</sup>.

Спору нет, что Горький на своем пути действительно мог встретить человека, именуемого себя князем Шахро Цулукидзе (а где он мог его встретить, мы уже знаем), и он мог послужить одним из источников для создания образа Шахро Птадзе. Однако при этом не подлежит сомнению и собирательность этого характера. Более того, при лепке своего героя Горький бесспорно воспользовался чертами не одного Цулукидзе или Сугуридзе и С-дзе, а, оставаясь верным принципу художественного обобщения, широко воспользовался разнообразными впечатлениями и воссоздал типичные характеры определенной социальной группы, раскрыл их классовую сущность.

<sup>2</sup> Архив А. М. Горького. ПГ-рл-23-15, л. 2—3.

<sup>3</sup> М. Горький ошибочно считал, что «Мой спутник» им был написан не в 1894, а в 1896 году.

<sup>4</sup> Архив А. М. Горького, ХПГ-38-9-1. Последнюю фразу Горький в текст «Моего спутника» внес в 1899 году. Здесь эта фраза несколько видоизменена.





# ВАЖА ПШАВЕЛА О Л. Н. ТОЛСТОМ

В творчестве грузинских писателей XIX века, в особенности второй его половины, содержится немало высказываний о русской культуре и литературе. Лучшие традиции русской демократической художественной литературы вошли в их сознание, определив идейную направленность грузинской общественной мысли. И это совершенно естественно, ибо на протяжении столетия грузинские и русские писатели с одинаковым рвением служили идеям освободительной борьбы и спасения народов, находящихся в неволе и несправии. Грузинская публицистика не раз характеризовала сущность русской литературы, а грузинская литературная критика оценивала произведения русских писателей именно с точки зрения демократичности их идей. Грузинскую публицистику интересовали также настроения и взгляды лучших сынов грузинского и русского народов, их отношение друг к другу.

Показательно, что наиболее передовые представители грузинского народа видели существование двух России: России демократической, трудовой и России великодержавного чиновничества, которое с яркой ненавистью относилось как к своему народу, так и к другим народам, населявшим ее.

В своих высказываниях о передовых людях и писателях России деятели грузинской литературы в первую очередь подчеркивали именно их гуманность, владеющую ими идею единства и дружбы между народами.

Знаменательно, что сугубо национально-самобытный писатель Важа Пшавела для подкрепления своих позиций обратился к такому исполину русской литературы, как Лев Толстой. Маневрируя его высказываниями, он мастерски отражал нападки критиков и сводил к нулю взгляды некоторых оппонентов, на-

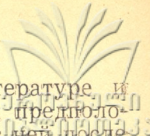
правленные против самобытности и оригинальности его манеры письма. «Граф Лев Толстой, — пишет Важа Пшавела, — замечательный писатель. Сам Тургенев назвал его великим писателем Руси, и знаете, что он пишет о самом себе?». Далее Важа Пшавела передает суть толстовских слов: «Во всей моей жизни только два русских человека имели на меня большое нравственное влияние, они расширили мне мысль и ясно обрисовали мой взгляд на мир. Эти люди не были ни русскими поэтами, ни учеными и проповедниками; они были и сегодня они живы — землелашцы крестьяне Сютаев и Бондарев, которые всю жизнь обрабатывали землю».

Цитируя Л. Толстого, Важа Пшавела доказывает, что существует определенная сфера литературного влияния, что на мысли поэта воздействуют разные явления, которые подсознательно входят в мир образов и мыслей писателя.

В данном случае Важа Пшавела воспользовался авторитетным мнением Л. Толстого, чтобы ответить своему критику Г. Ф. Кипшидзе, который приписал его творчеству влияние Рафизла Эристави (см. статью Г. Ф. Кипшидзе в газете «Новое обозрение», 1896, № 4139 — «Новейшие грузинские поэты — Бачана и Важа Пшавела»).

Подобно тому как Л. Толстой в простных русских крестьянах, Важа Пшавела в родном грузинском народе находил своих мудрых наставников.

К словам Льва Николаевича он добавляет только: «Это говорит сам Толстой. Покажите, пожалуйста, такого выскочку и несмышленного человека, который бы сказал — так как Сютаев и Бондарев имели влияние на Толстого, то все его произведения принадлежат не ему, а крестьянам Сютаеву и Бондареву!».



Назвав двух крестьян, Л. Толстой указал на источник своих познаний. Важа Пшавела также считает, что эти крестьяне и есть дети народа, вышедшие из гущи народных страданий; им присуща исторически-практическая наблюдательность народных масс. А народ — мудрейший учитель писателей, и не только писателей.

Когда в ноябре 1910 года стало известно о бегстве Л. Толстого, Важа Пшавела немедленно откликнулся на это трагическое событие.

Он пишет о мировом значении Льва Толстого. Грузинский поэт говорит о русском писателе, как об отце всех людей, известность которого давно перешагнула пределы его родины и вызвала мировой резонанс. Важа Пшавела оценивал творчество Толстого как вдохновляющую и светозарную силу сердца, разума и чувствований. По его мнению, Л. Толстой разрывал оковы, приглушающие стоны человеческих душ. В груди этого старца, считал он, билось могучее сердце, и он с молодым задором требовал освобождения народов.

Важа Пшавела очень точно определил пафос толстовского учения. Он увидел его в любви между людьми, которая и есть животворящая сила человеческого общества. Только она и облегчает его существование на этой земле.

Художника, подобного Л. Толстому, Важа Пшавела не находил в России того времени. Со свойственной ему конкретностью он сжато охарактеризовал зна-

чение Толстого в русской литературе, и культуре вообще и высказал предположение, что занять его место в ней после него будет не легко.

По мнению Важа Пшавела, Л. Толстой оставил в жизни народа очень глубокий след. Этот след подобен пропасти, куда еще не доходит глаз человеческий.

Даже в условиях жесточайшей цензуры, которая на окраинах царской России была особенно свирепой, он сумел все же сказать, что могучая душа Толстого подвергалась гонениям, что правительство, которое Важа Пшавела, подобно Льву Николаевичу, считал злом, и церковь потрясли ее спокойствие. Грузинский поэт утверждал, что у Толстого был свой бог — бог справедливости и любви. Он писал, что творчество этого титана было отражением реальной действительности и служило идее спасения человечества, раскрепощению его разума и чувств. Важа Пшавела подчеркивает, что Лев Толстой, как художник, известен лишь незначительному меньшинству, что он не занял еще достойного места в сознании людей, не понят и не оценен ими до конца. Причина этого — в состоянии народа. Он не может понять и оценить Толстого, так как сердце и душу его окутывает тьма.

Грузинский поэт верил, что будущее принадлежит тому, кто целесообразно служит настоящему. Он выразил это в стихотворении «На смерть Льва Толстого», опубликованном в ноябрьском номере журнала «Накадули» за 1910 год.







## Всеволод Мейерхольд в Грузии

**Д**ЕЯТЕЛЬНОСТЬ многих виднейших представителей русского театра связана с Грузией. Немало прекрасных страниц вписали они в летопись творческого содружества русского и грузинского народов, способствуя тем самым развитию и процветанию нашего театра. Творческие узы связывали с Грузией и выдающегося советского режиссера-новатора Всеволода Эмильевича Мейерхольда.

Впервые Мейерхольд приехал в Грузию в 1904 году, вскоре после того, как покинул Художественный театр и организовал в 1902 году свою труппу — «Товарищество Новой драмы». Тбилисский сезон «Товарищества Новой драмы» открылся 26 сентября 1904 года в здании «Артистического общества». Была показана пьеса А. Чехова «Три сестры» — своеобразная заявка о приверженности мейерхольдовской труппы к Московскому Художественному театру. «Мейерхольд задался целью проложить путь в провинции новаторским задачам Художественного театра во всей их неприкосновенности, вплоть до мелких причуд, вроде раздвижного занавеса и ударов гога». Эти слова рецензента газеты «Кавказ» очень точно подчеркнули одну из причин создания «Товарищества Новой драмы» — пропаганду творческих принципов театра К. С. Станиславского, В. И. Немировича-Данченко, А. П. Чехова и А. М. Горького, театра, о котором так много спорили и писали. Поэтому не удивителен огромный интерес тбилисского зрителя к труппе Мейерхольда, которая хотя и косвенно, но все же общала его к доселе малознакомому искусству МХТа.

Первый спектакль труппы Всеволода Мейерхольда — «Три сестры» оправдал ожидания тбилисского зрителя. Постановка заинтересовала его не только новизной внешнего решения, например смелостью мизансцен, когда актеры «садились, размещались на сцене не всегда лицом, а и спиной к публике», но и тем, что она утверждала новый, в отличие от установленного, взгляд на театр. «До сих пор мы шли смотреть актеров, а теперь нас приглашают смотреть прежде всего пьесу, т. е. теперь на первый план выдвигается не индивидуальность непосредственного творчества, а совокупность художественного восприятия», — отмечалось в те дни в газете «Кавказ».

Первое знакомство сулило театрам интересный сезон, но, увы, последующая постановка труппы «Товарищества Новой драмы» озадачила тбилисскую публику и заставила ее задуматься в правильности своей оценки достоинств театра. Спектаклем, вызвавшим столь противоречивые толки и дебаты зрителей, был «Потонувший колокол» Г. Гауптмана. Если судить по рецензии газеты «Кавказ», то причиной неуспеха этого спектакля послужило отсутствие у тбилисских зрителей интереса к новомодным литературным течениям: «Символизм и декадентчину — этих двух литературных выкидышей — не раз пробовали узаконить на нашей тифлисской сцене, но, слава богу, до сих пор ничего из этого не выходило. Да будет известно всякому тифлисскому антрепренеру-новатору, что наша публика до всего этого пока еще не доросла. Мы жаждем чистой и здоровой литературной пищи. Ценим только пьесы, отражающие жизненные явления, как в зеркале, а не делающие из них ребусы». И вправду, воспитанный на реалистических традициях, тбилисский зритель не мог принять отстраненную от жизни символику. Аудитория, считавшая театр глашатаям гражданских устремлений, не желала смотреть лишённые жизненной правды пьесы. Однако «ошибка» в выборе пьесы совершенно не повлияла на оценку режис-

серского мастерства постановщика. Высокий профессионализм Мейерхольда по-крил даже противников.

В результате после этих двух постановок общественное мнение резко раскололось. Одни принимали с восторгом театр Мейерхольда, другие отрицали его безоговорочно... Судьбу «Товарищества Новой драмы» окончательно решила пьеса Г. Зудермана «Гибель Содомы», которая благодаря блестящей режиссуре и отличному актерскому исполнению прошла с беспорным успехом. Главную роль—художника Вилли умно и тонко исполнял сам Мейерхольд. Этот спектакль установил прочный контакт и полное понимание между сценой и зрительным залом. Среди тбилисских театралов Мейерхольд приобрел истинных друзей и ценителей искусства.

В продолжение сезона, который длился почти шесть месяцев, труппа «Товарищества Новой драмы» показала тбилисцам более шестидесяти постановок, большинство из которых было повторением мхатовского репертуара.

Возникает вопрос: почему Мейерхольд, которого, как известно, не вполне удовлетворяла творческая платформа Художественного театра, стал пионером ее пропаганды? Опираясь на доводы его ближайшего соратника А. Ремизова, можно предположить, что Мейерхольду, «возможно, надо было пройти железный режим Станиславского, возбудиться его огромным художественным чутьем, усвоить его метод, чтобы, преодолев школу, открыть в себе нечто новое». Следовательно, ставя спектакли «по мизансценам МХТа», Мейерхольд искал свой собственный творческий путь.

В творчестве Мейерхольда тех лет особняком стоит постановка пьесы Шибышевского «Снег». Это пробный спектакль, в котором режиссер впервые постарался утвердить свое понимание нового, «внебытового», театра. Мейерхольду хотелось реализовать в этом спектакле театральную программу символизма. Но эксперимент не удался, пьеса провалилась. По мнению рецензента газеты «Кавказ», «грязный снег Шибышевского» оказался для всех недоступным. «Если г. Мейерхольд задался целью во что бы то ни стало привить нам бациллы нового литературного шарлатанства и заставить нас наподобие мартышек в гетевской кухне ведьмы захлебываться модными столичными восторгами, то пусть убедится, что здесь это не пройдет, драма нужна нам чистая, литературная, без противостоественных ухищрений». Эти слова как нельзя точно определяют причину недовольства тбилисской аудитории, для которой жизненность и идейность были главными критериями сценического творчества.

Огорченный неудачей, Мейерхольд решил на время отложить эксперименты и вернуться к постановке уже проверенных временем пьес. Это был компромисс, но не полный, о чем свидетельствует постановка пьесы Шентана «Акробаты». Хотя в этом спектакле точно соблюдались столь обязательные и приятные сердцу тбилисского зрителя требования Художественного театра, как жизненность, точность, достоверность каждой детали, все же в постановке «Акробатов», как пишет театровед Рудницкий, «робко, но внятно зазвучали новые ноты. Они были неизбежны, ибо методами МХТа «обрабатывался» совсем непривычный и несвойственный Художественному театру материал». По сообщению газеты «Кавказ», «успех пьесы был исключительный и восторг публики единодушный». Роль старого, одинокого клоуна Ландовского исполнял Мейерхольд. «Мейерхольд, как всегда, когда он играет чисто характерную роль, был тонким художником и бесподобно воплотил клоуна Ландовского»,—читаем мы ниже.

Роль Ландовского была не единственной актерской удачей Мейерхольда в том сезоне. Целый ряд образов, созданных им на тбилисской сцене, вошел в его творческую биографию. Среди них тбилисская пресса особо выделяла профессора Крамптона в пьесе Гауптмана «Коллега Крамптон» и Иоанна в «Смерти Иоанна Грозного» А. Толстого.

Но Мейерхольд-актер не всегда радовал зрителей. Были у него и неудачи. «Роль Чацкого в исполнении Мейерхольда,—писала газета «Кавказ»,—должна быть признана чуть ли не самой слабой из всех сыгранных у нас артистом до сих пор ролей... Он путался, сбивался в тексте и всю роль вел хот-и и скороговоркой, но как-то захлебываясь, по-видимому, желая заменить этим недостаток темперамента». Ну что ж, может быть, так оно и было, может быть, роль Чацкого и впрямь не удалась В. Э. Мейерхольду. И все же следует особо задержать внимание на этой статье, ибо она сохранила нам ценные сведения о театральной деятельности Мейерхольда в Тбилиси.

В связи с отрицательной оценкой Чацкого—Мейерхольда рецензент пишет, что «ученик сценического класса «Новой драмы», игравший лакея Чацкого, чуть не превратил последний уход Чацкого в опереточный шарж, неожиданно напав на голову Мейерхольда уродливый цилиндр». Как видим, в рецензии есть очень ценная справка, указывающая на то, что во время своего

пребывания в Тбилиси Мейерхольд занимался не только режиссерской и актерской, но и педагогической деятельностью. У него был в Тбилиси свой актерский класс.

Пребывание Мейерхольда в Грузии подходило к концу, и, конечно же, ни он, ни его тбилисские зрители тогда еще не знали, что следующая их встреча состоится ровно через год. Сложилась театральная судьба Мейерхольда иначе, его второй приезд в Грузию, возможно, оттянулся бы на некоторое время. Но, потерпев неудачу в Москве, Мейерхольд стал искать дружественную обстановку, в которой можно было продолжить свои творческие поиски, и, естественно, его потянуло в Тбилиси, в город, где его любили и ценили.

«В этом году в душе моей зародилось что-то новое, что распустит ветви, даст плоды, они созреют, и жизнь моя должна расцвести пышно, прекрасно. Падение студии — мое спасение, потому что это было не то, не то, теперь только понимаю, как хорошо, что студия пала», — писал Мейерхольд своей жене О. Мунт в 1906 году перед началом выступлений «Товарищества Новой драмы» в Тбилиси. И это была истина. Работа Мейерхольда в «студии на Поварской» не прошла бесследно, она открыла ему новый мир, который прочно вошел в его жизнь и расцвел «пышно и прекрасно». Но, вопреки желанию Мейерхольда, «ветви» его распустились не в столице, а в Тбилиси, где он впервые вынес на суд широкой аудитории свою программную работу — «Смерть Тентажиля» Мориса Метерлинка.

В театральном сезоне 1906 года перед грузинским зрителем предстал театр совсем иных устремлений, с иными художественно-постановочными принципами и творческими задачами. Гастроли открылись пьесой Генрика Ибсена «Комедия любви», которая отчасти была воспроизведением студийной работы режиссера, но не во всех ее деталях. Здесь Мейерхольд постарался ярче подчеркнуть национальный колорит ибсеновской пьесы. Нарядные костюмы, красочное решение сценического оформления, прекрасная актерская игра и музыка Грига во многом способствовали успеху спектакля.

Грузинский зритель, в большинстве своем, хорошо принял Мейерхольда и «новую драматургию». Тем не менее вторым спектаклем режиссер пустил уже апробированную в Тбилиси драму Ибсена «Привидения». Освальда играл сам постановщик. Свою роль он провел продуманно до мельчайших деталей и очень интересно. Мейерхольд не только не подчеркивал болезнь своего героя и его обреченность, а наоборот, показал его безудержное стремление к свету, жизни.

Третьей ибсеновской пьесой, поставленной в том сезоне, была «Нора». Кроме вышеназванных драм, во время гастролей в Тбилиси было разыграно еще шестнадцать пьес.

Мейерхольд предполагал открыть тбилисский сезон «Товарищества Новой драмы» показом пьесы Метерлинка «Смерть Тентажиля», но, несмотря на широкую пропаганду и благоприятные комментарии прессы в ее адрес, касса предварительной продажи пустовала, и премьеру пришлось отложить на месяц. Горький опыт прошедшего сезона (Мейерхольд хорошо помнил реакцию тбилисской аудитории на «Снег» Пшибышевского) научил режиссера осторожности в обхождении с публикой. Поэтому трагедия Метерлинка, над которой Мейерхольд работал более года, была дана лишь после тщательной подготовки будущих ценителей. Так, например, газета «Кавказ» писала: «Нас просят сообщить, что в гастрольные спектакли «Товарищества Новой драмы» включена трагедия Метерлинка «Смерть Тентажиля». Интересная как образец нового приема драматургического творчества, она будет представлена в новых, так называемых «условных» тонах импрессионистического театра».

Результат предварительного разъясения не замедлил сказаться на приеме спектакля. «Спектакль 19 марта может быть назван триумфом Мейерхольда. В этот вечер он удостоился самых восторженных оваций, главным образом со стороны молодежи, поднесшей ему венки и благодарственный адрес за то, что он поставил себе целью привить тифлисской публике новые вкусы. Можно выразить большую благодарность труппе, взявшей на себя труд ознакомить провинциальную публику с новинками европейского репертуара, и особенно благодарность Мейерхольду, как прекраснейшему режиссеру», — восторженно писала газета «Кавказ».

Обращение Мейерхольда к символистическим драмам имело глубокие общественные корни и было тесно связано с переменами в политическом положении страны. Шел 1906 год, уже сказывались первые признаки зарождающейся реакции, наступившей вслед за подъемом революционного движения. Мейерхольд задумал сопоставить действие пьесы с текущими событиями тогдашней российской жизни, дать аллегорический образ тяжелой действитель-

ности. По замыслу постановщика, многозначительные и несколько расплывчатые символы метерлинковской пьесы должны были обрести в спектакле конкретную реальность и воспроизвести правдивую картину России — с ее тюрьмами, заключенными, палачами и страшным произволом. Но утверждение Мейерхольда, что революция на улице и в театре связана с одной датой, что «в 1905 году, когда на улицах Москвы назревало народное волнение, в московской студии готовилась к постановке «Смерть Тентажиля», где невидимая, но страшная чудилась фигура Королевы», лишено веских доказательств. «Смерть Тентажиля» не стала истинно революционным спектаклем. Заявление режиссера о том, что показанный в трагедии остров — это «наша жизнь», «замок Королевы — наши тюрьмы», Тентажил — воплощение героизма и свободолюбия, не приобрело в постановке конкретного смысла. Поэтому можно согласиться с теми критиками, которые утверждали, что Мейерхольд поставил «Смерть Тентажиля» лишь ради выверки своих формалистических экспериментов, где предметом изображения стало субъективное отношение художника к реальной действительности. Тем не менее следует признать, что «Смерть Тентажиля» — значительный спектакль, ибо он во многом определил искания и облик всего русского символистического театра. Кроме того, работа над ним несравненно обогатила творческий арсенал Мейерхольда и помогла ему найти свой, отличный от других постановщиков, стиль режиссуры.

В то время главная творческая задача Мейерхольда заключалась в создании ритмического соответствия актерской игры общему пространственно-цветовому решению спектакля, его музыке. Но в Москве Мейерхольду не удалось слить в одно эстетическое целое все компоненты спектакля — великолепные декорации Сапунова и Судейкина не только не помогли выявлению общего сценического рисунка, а даже наоборот, разрушали цельность постановки, заглушая собой режиссерскую и актерскую работу. Поэтому Мейерхольд решил отказаться от «неуязвимой красоты» декораций и тбилисский спектакль поставил в простом, не бросающемся в глаза сценическом оформлении. Спектакль «Смерть Тентажиля» шел на затянутой тюлем и обрамленной зеленой тканью сцене под аккомпанемент специально написанной к трагедии музыки Ильи Саца. Мейерхольд писал впоследствии, что «всю постановку пришлось выдерживать не в стиле примитивов, а в тонах беклиновских картин. Беклин вышел настолько определенным, что его заметили решительно все. Это для меня не идеально, но ценно, что «цельно». Решение спектакля в «тонах Беклина» помогло Мейерхольду преодолеть бросающийся в глаза разноречивый московского варианта постановки и способствовало успеху спектакля в Тбилиси.

Скрыленный хорошим приемом «Смерти Тентажиля», Мейерхольд через день вновь показал своим почитателям трагедию Метерлинка и этим представлением закрыл гастроли «Товарищества Новой драмы» в Тбилиси. Спектакль, как и раньше, оказался предметом жгучих споров и разногласий. Но одно оставалось несомненным — своей постановкой Мейерхольд заставил зрителя задуматься и пересмотреть свои эстетические критерии, а может быть, и общественные взгляды.

Вскоре многим стало известно, что в России появился еще один художник — ищущий, большой, обладающий неповторимой манерой режиссерского письма и огромным размахом фантазии. Значит, месяцы, проведенные в Тбилиси, оказались для Мейерхольда плодотворными и имели серьезное значение для его дальнейшего становления как режиссера. «После крушения «Театра студии» Тифлис 1906 года дал Мейерхольду возможность оглядеться, подвести итоги, — писал Н. Волков, — вместе с тем в таких постановках, как «Комедия любви», «Ганнеле», «Смерть Тентажиля», он закрепил часть опыта, накопленного во время организации «Студии», и, наконец, восстановив «Товарищество Новой драмы», он как бы обеспечил себе линию возможного отступления, если ему пришлось бы потерпеть новое крушение в своей петербургской работе». Но Мейерхольд покорила столицу, поэтому его приезд в Тбилиси состоялся лишь спустя два десятка лет, когда он в 1927 году вновь посетил город своей молодости уже общепризнанным мастером советской сцены.



# ПУТЬ К ЧИТАТЕЛЮ

СОВЕТСКИЙ народ по праву считается самым читающим народом в мире. Если в дореволюционной России почти три четверти населения было неграмотным, то с победой Великого Октября, в результате коренных социальных изменений, ликвидации неграмотности и успешного осуществления культурной революции, процент грамотных в СССР в возрасте от 9 до 49 лет вырос, по данным Всесоюзной переписи населения 1970 года, до 99,7 процента. Неграмотность ликвидирована во всех союзных республиках.

Однако от овладения грамотой детьми и в особенности взрослыми до приобретения ими прочных навыков систематического чтения, до появления у них широких читательских запросов лежит еще большой путь расширения кругозора, духовного обогащения, проникновения в культуру книги. И это успешно преодолевается. Одним из ярких показателей этого процесса является ежегодное издание более чем на ста языках народов СССР свыше 85 тысяч названий книг тиражом более 1,5 миллиарда экземпляров.

Большое место в духовном арсенале советских людей занимает художественная литература, из года в год пополняющаяся новыми талантливыми произведениями. Тематические и жанровые рамки художественной литературы постоянно раздвигаются благодаря искусству перевода, позволяющему многочисленным национальным литературам Советского Союза и зарубежных стран вливаться в общее русло.

Блестяще сформулированный А. М. Горьким тезис о том, что «советская литература не является только литературой русского языка, это — всесоюзная литература», получил убедительнейшее подтверждение в наши дни с принятием Президиумом Верховного Совета СССР Указа о присвоении звания Героя Социалистического Труда группе писателей. Этого высокого звания ныне удостоены русские писатели Николай Грибачев, Валентин Катаев, Вадим Кожевников,

Георгий Марков, Борис Полевой, Константин Симонов, грузинский писатель Григорий Абашидзе, украинский писатель Микола Бажан, аварский писатель, народный поэт Дагестана Расул Гамзатов, литовский писатель Эдуардас Межелайтис, казахский писатель Габит Мусрепов, белорусский писатель Максим Танк, киргизский писатель Аалы Токомбаев, узбекский писатель Камилль Яшен.

Широким потоком идут книги к миллионам советских читателей. Все более повышается идейный и художественный уровень литературы. Советские писатели всегда помнят слова А. М. Горького, сказанные сорок лет назад, в дни создания Союза писателей СССР: «Ценность искусства измеряется не количеством, а качеством».

Между тем в общий поток издаваемых книг все еще проникают серые, неинтересные произведения, которые, естественно, не находят своего читателя. И хотя рукописи для включения в издательские планы отбираются тщательно и затем редактируются тщательно, все же не исключена возможность отдельных просчетов, и поэтому нельзя согласиться с огульным зачислением книг, залежавшихся на прилавках книжных магазинов или на полках библиотек, в разряд «серых» и «неликвидных».

Чаще всего книга залеживается из-за неумения работать, нежелания повозиться с нею. Книга, как и человек, требует индивидуального к себе подхода. Не секрет, что книжные магазины «без продавца» посещаются покупателями гораздо больше, чем магазины «с продавцом». В первом случае покупатель имеет доступ к книжным полкам и может сам «порыться» и найти нужную ему книгу, а попутно и «наткнуться» на другие книги, отвечающие его читательским интересам и запросам. Во втором же случае ему чаще всего приходится довольствоваться односложными ответами продавца. А ведь он многое может сделать, если обладает профессиональной интуицией, широким кругозором,

следит за справочно-библиографической и критической литературой, знаком с перспективными планами основных издательств и, наконец, если он способен (по опыту работы) улавливать по первым же вопросам покупателей их читательские интересы.

И вовсе нельзя согласиться с пущенными в обиход фразами, выражающими в корне неверное, обобщающее отношение к отдельным жанрам и видам литературы: «поэзию не берут», «пьесы не читают», «литературоведение — для специалистов» и т. п.

Вспомним статью Владимира Маяковского «Подождем обвинять поэтов». В ней он как раз вскрывает беспочвенность утверждений: «Поэты «не идут». Поэтов не читают. Поэтов не покупают. Издавать стихи убыточно». Воспользовавшись своей лекционной поездкой по ряду городов, Маяковский понаблюдал за книжной торговлей, сам включился в благородное дело пропаганды книги и убедительно доказал обратное этим утверждениям. Заканчивается его статья призывом: «Товарищи поэты, последние временно сами за движением своих стихов!». Я беру эти слова из двенадцатого тома полного собрания сочинений В. В. Маяковского, выпущенного тиражом в 166 тысяч экземпляров. А вообще произведения Маяковского издавались в нашей стране с 1918 по 1972 год 944 раза и общий тираж этих изданий достиг 75 миллионов. Красноречивые цифры!

Могут сказать: ведь то Маяковский! Да, верно. Но и Маяковскому приходилось спорить не только по поводу своих книг, а и поэзии вообще. Как видим, спор не окончен. И почему бы не воспользоваться ныне здравствующим поэтам советом Маяковского и не последить временно самим за движением своих стихов, поехать по стране, по великим стройкам пятилетки, чаще встречаться с читателями, тружениками городов и сел, со студентами и школьниками. Тогда бы исконный «разговор книгопродавца с поэтом» принял бы совсем иную, более активную и результативную форму. И не стал бы тогда, вероятно, инспектор Новгородского облкниготорга Владимир Кулагин необоснованно утверждать, что «спрос на переводную поэзию, за малым исключением, незначительный»<sup>1</sup>.

Можно привести всего несколько цифр, чтобы опровергнуть это столь же категорическое, сколь и неверно обобщающее утверждение.

В практике работы тбилисского издательства «Мерани» с переводными произведениями есть немало фактов, когда, перед тем как подписать книгу «в печать», приходится резко сокращать

заявки, поступившие из книготоргов страны. Так, например, на книгу Николая Заболоцкого «Стихи о Грузии» и переводы из грузинской поэзии заявки составили 30 000 экземпляров, а планируемый тираж этой книги — 10 000. На аналогичную книгу поэтессы Беллы Ахмадулиной были получены заявки на 100 000 экземпляров, а наши возможности где-то в пределах 25—30 000. Юбилейная серия библиотечки современной грузинской поэзии — соответственно 12 000 — отпечатано всего лишь 5 000. Стихи поэтессы Маквалы Мрвлишвили — 23 000 — отпечатано 15 000 и т. д.

Правомерно ли судить о книге стихов, изданной на языке оригинала или переведенной о ее идейных и художественных качествах по одному тому признаку, что она лежит на прилавке какого-то книжного магазина и не находит покупателя или весьма медленно продвигается к читателю? Конечно, нет! Между тем с разговора о таких именно «неходовых» книгах начиналась полемика, развернувшаяся в конце 1973 года вокруг статьи С. Куяева на страницах «Литературной газеты». Даже самая прекрасная книга автора, еще не завоевавшего популярность в читательских массах или вовсе не известного, будет лежать мертвым кладом, пока не появятся импульсы, сближающие покупателя (т. е. читателя) с нею. Какие же это импульсы? Они всем хорошо известны: рецензии в периодике, предварительная публикация отдельных произведений автора, мнение читателя, выраженное на встрече с автором или в кругу знакомых и друзей, оповещение о книге и ее достоинствах по радио и телевидению и еще многое другое, в конце концов — самая настоящая, в хорошем смысле, реклама. А при отсутствии этих импульсов разве можно обвинять автора книги в том, что не расходуется ее тираж, и преждевременно браться за пятидесятипроцентное удешевление издания (при ее в общем-то минимальной общедоступной цене), как это, судя по статье С. Куяева, сделали в специализированном книжном магазине «Поэзия» в Москве и тем самым проявили формальный, односторонний и, я бы сказал, безучастный подход к такому важному, благородному и творческому делу, как работа с книгой и читателем.

И разве книга должна быть распродана вскоре же после ее выхода в свет? Не следует ли пересмотреть плановые сроки оборачиваемости книг в торговой сети, исходя из того, что оповещение граждан о вышедших из печати новинках (включая и рецензирование их в периодической печати) — процесс весьма длительный и часто запаздывающий.

Вызывает недоумение оговорка, сделанная к опубликованным в «Книжном

<sup>1</sup> «Литературная газета», № 2, от 9 января 1974 года.

обзрении» спискам магазинов «Книга—почтой». Оказывается, как правило, универсальные магазины «Книга—почтой» высылают «книги по всем отраслям знаний за исключением художественной и детской литературы центральных издательств, учебников и изданий по искусству». Почему художественная литература должна отключаться от такой мощной книгопроводящей сети, как магазины «Книга—почтой»? Но даже если учесть все использованные и неиспользованные возможности книготорговли, все же нельзя не признать факта, что некоторые книги и не только поэтов, но и прозаиков и драматургов, при всех формах оповещения читателей, остаются нераспроданными, не вызывают живого интереса к себе читателей. В этом случае было бы несправедливо искать «козлов отпущения» среди работников книжного прилавка, хотя от них, от уровня их культуры и знаний, как я уже отметил, зависит многое.

Основное и решающее мнение, определяющее судьбу будущей книги, складывается в издательстве, когда на стол ложится рукопись, когда ее рецензируют, обсуждают, включают в план, редактируют. И если вышедшая в свет книга не оправдала надежд и встретила холодный прием, то вина в этом в значительной степени ложится на издательство. Ведь в правах и возможностях редакционно-издательских работников во время предостеречь автора от возможных ошибок, подсказать ему, если это нужно, необходимость доработки или исправления рукописи, оказать творческую квалифицированную помощь—консультацию и даже отклонить рукопись, прибегнув к авторитетной поддержке коллективного мнения редакционного совета. Совершенно очевидно, что слабым, серым, незрелым книгам должен быть выставлен прочный заслон.

Хотелось бы более подробно остановиться на том, что представляется довольно спорным в проводившейся полемике, а может быть, даже неправильным в оценке такого явления в нашей жизни, как переводная литература с языков народов СССР.

Станислав Куняев, например, пишет: «Процент переводимой поэзии за последнее десятилетие весьма возрос, и тенденция к его увеличению сохраняется. Это закономерно. Но не надо забывать, что стихи, изданные на русском языке, начинают жить в читательском море несколько иной жизнью, нежели когда они существовали в оригинале. Мы порой забываем, что у русского языка—особая миссия. Это язык межнационального общения. Туркменский поэт узнает о том, что делается, скажем, в литовской поэзии, благодаря языку Пушкина.

На русском языке, на мой взгляд, должна выходить не просто новая книга

национального поэта, а всегда в какой-то степени «избранное», итог нескольких книг. Поэт должен чувствовать, какая часть его творчества может быть интересна для читателя другого народа».

Разберемся в этом, как мне кажется, не совсем верном высказывании. Предлагается какая-то ограничительная мера в отношении перевода поэзии народов СССР не по основным критериям идейно-художественных качеств, а лишь только потому, что «какая-то часть» творчества поэта «может быть интересна для читателя другого народа», а остальная часть, следовательно, не интересна. При этом самому поэту предлагается определить, что «интересно» и что не интересно читателям других народов в его поэзии, когда, как отмечено Центральным Комитетом нашей партии, «закономерными в духовной жизни стали расцвет, сближение и взаимообогащение культур социалистических наций и народностей», когда «национальные особенности органически сочетаются с интернациональными, общесоветскими чертами и традициями»<sup>1</sup>.

Далее, получается, что не широкие слои туркменских читателей познакомятся с литовской поэзией, а туркменский поэт узнает, что делается в поэзии братского народа. Не слишком ли это роскошно! Ведь для ознакомления любого поэта с состоянием поэзии другого народа достаточно машинописного экземпляра подстрочника.

«Особая миссия» русского языка как средства межнационального общения состоит не только в получении какого-то объема информации, познавательных сведений, а главным образом в обмене материальными и духовными ценностями.

Сами же поэты-переводчики, лучшие представители советской переводческой школы, в том числе и Станислав Куняев, не раз отмечали, что хорошее стихотворение в переводе на русский язык играет отнюдь не вспомогательную роль, а начинает жить новой полноценной жизнью, обогащая духовный мир читателя.

Наш многолетний опыт издания переводных книг и сама богатая практика переводческого искусства показывают, что нет никакой необходимости в особых ограничениях и в создании каких-то особых условий для переводимых произведений поэтов.

Прежде всего сам автор всегда бывает заинтересован предложить для перевода те свои стихи, которые он считает наиболее удавшимися. Эту самооценку корректируют издательский ре-

<sup>1</sup> Постановление ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию образования Союза Советских Социалистических Республик».

цензент, переводчик, редактор. Так или иначе в издаваемую книгу попадают избранные стихи даже в том случае, если книга не носит специфически шаблонного названия «Избранное». И в этом случае у нас никаких расхождений со Станиславом Куняевым нет. К чему же в таком случае бить тревогу?

Еще на Первом Всесоюзном съезде писателей А. М. Горький отметил, что писатели братских республик «работают не только каждый на свой народ, но каждый — на все народы Союза Социалистических Республик и автономных областей».

Эти слова относились к периоду, когда происходила консолидация всех литературных сил на основе исторического постановления ЦК нашей партии, когда проводился учредительный съезд советских писателей; они отражали действительное положение дел. И эти высказывания вместе с тем содержали предвидение дальнейшего процесса развития и расцвета национальных культур, интернационального сближения и творческого сотрудничества братских народов. В этом их мудрость и прозорливость.

Ярким подтверждением приведенных слов А. М. Горького служит вся многолетняя практика нашего издательства.

Только за последние без малого тридцать лет — с 1946 по 1973 год, то есть в послевоенный период, нами издано в русском переводе 1 078 названий книг грузинской художественной литературы общим тиражом более 20 миллионов экземпляров.

Приятно сознавать, что эти двадцать миллионов книг нашли своих русских читателей и читателей других национальностей, пользующихся русским языком как языком межнационального общения.

Известно, как продолжительна и кропотлива работа по созданию переводной книги, и тем более приятно, когда та или иная переводная книга получает высокую оценку. Приведу лишь один пример из прошлых лет.

На творческом вечере Тициана Табидзе в Ленинграде Константин Федин

в своей речи сказал: «Грузинскую поэзию мы узнали главным образом за последнее пятилетие. Это плоды замечательной работы целой группы — целой плеяды русских поэтов Ленинграда и Москвы. Благодаря этой работе нами открыт среди других грузинских поэтов такой замечательный поэт, как Тициан Табидзе. Вот книга, только что вышедшая и уже разошедшаяся, она в первый раз с такой силой показывает этого поэта, которого мы знали раньше по альманахам, по газетам. Книга такая, которую читаешь с любовью и оставляешь с некоторой обидой за то, что она окончилась»<sup>1</sup>.

Вот так «открывали» для себя новых поэтов русские читатели, так формировались читательские интересы.

Переводить стихи Т. Табидзе стали особенно интенсивно в 50-х и 60-х годах: в эту работу включилась большая группа русских поэтов; в результате составила всего одна книга, выпущенная в 1964 году в Москве вторым изданием в большой серии «Библиотека поэта». А на грузинском языке, языке оригинала, его творческое наследие издано в трех томах.

Собрание сочинений Галактиона Табидзе насчитывает 12 томов, а русские переводы, изданные в 1973 году в связи с 80-летием со дня рождения поэта, составили одну книгу, правда, сейчас началась подготовка к изданию двухтомника Галактиона Табидзе на русском языке.

Таким образом, остается только пожелать, чтобы увеличивалось число хороших переводов и умножалось число хороших книг каждого переводимого поэта, прозаика, драматурга, литературоведа.

Хочется еще раз подчеркнуть, что борьба за высокое идейно-художественное качество, а следовательно, и за широкую распространяемость издаваемых книг должна способствовать развитию и переводческого дела.

<sup>1</sup> Т. Табидзе. Статьи и очерки, переписка, Тб., 1964, стр. 290—291.



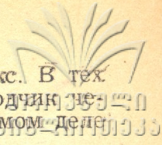


# Когда поэт с поэтом говорит...

## БУКВАЛИСТСКИЙ ПЕРЕВОД — ФУНКЦИЯ ПЕРЕВОДА БУКВАЛЬНОГО (ТЕОРИЯ)

Чревато хаосом не только прямое перенесение фонетики, грамматики, синтаксиса подлинника в перевод. И буквализм семантический, то есть теория, надеющаяся, что форма подлинника будет автоматически воспроизведена при «сохранении буквального смысла, ведет лишь к развалу целостности и цельности произведения. Сколько всяких словесных уродцев — подобных «классическому» «пощекоти мое черствое сердце» — процветало по страницам переводов из грузинской прозы! А ведь стремились к максимальной семантической точности каждого слова! Но истинная семантика грузинского слова — не говоря уже о форме произведения, о его стилевых особенностях — никак почему-то не хотела раскрываться в предлагаемых словарями «прямых параллелях». «Эмоциональный ореол» вокруг грузинского слова, его значение не совпадали с семантикой слова русского, их «стилевые поля» никак не совмещались! Такая разноточность лексики многократно уже отмечалась лингвистами, и если необходимо привести еще несколько примеров, то только для того, чтобы не создалось ложного впечатления о каком-то исключительном положении, возникающем при переводе с таких далеких друг от друга языков, как русский и грузинский.

Раскрываю «Высокое искусство» К. Чуковского: «Каждому начинающему было бы очень полезно взять подлинный текст из хотя бы «Мартина Чезлвита» и сравнить его строка за строкой с переводом, сделанным Инной Дарузес. Первое впечатление — отличное, несметное богатство синонимов. В подлиннике, например, одну девушку называют «wild». По словарю это значит **дикая, буйная, необузданная, неистовая, раздражительная, бешеная**. И до чего приятно найти в переводе **шалая**. Или взять хотя бы слово «vegy». В словарях у него единственное значение: **очень**. Так и перевел бы любой буквалист: «Пассажиры казались **очень** промерзшими». Но Дарузес находится в постоянной вражде с буквализмом, для нее каждое слово имеет много значений, и эту фразу перевела она так: «Пассажиры, видимо, **порядком** промерзли». И вот какими словами изложил бы переводчик-буквалист жалобы одной героини романа: «Забота постоянно держит в напряжении («sure! the stretch») мой ум»... Вместо накрахмаленной фразы в новом переводе читаем: «Из-за нее одной (из-за этой заботы. — К. Ч.) **вечно душа не на месте**». И конечно, это чудесное русское образное «душа не на месте» по своему стилю и смыслу гораздо ближе к подлиннику, чем буквальное: «держит в напряжении мой ум». Там, где всякий буквалист непременно напишет: «Великие люди охотно раздают то, что принадлежит другим», — в переводе у Дарузес говорится: «Великие мира сего раздают направо и налево чужое добро». И хотя у Диккенса нет ни «направо и налево», ни «мира сего», мысль и стиль гениального автора переданы этими словами гораздо точнее, чем



передал бы переводчик-буквалист. Оттого и происходит такой парадокс. В тех случаях, когда кажется, что, расширяя границы своего словаря, переводчик рещур своевольничает, слишком далеко отступая от подлинника, на самом деле это отступление от подлинника и есть наибольшее приближение к нему».

Кажется, все определено и выверено достаточно четко. Кажется, годы и годы работы переводчиков позволили всем воочию убедиться, что «опора лишь на семантический смысл «слова» отнюдь не приближает нас к познанию тайны «вос-создания иноязычного подлинника и ведет прямехонько к разрушению его «смысле-ла» и его «формы». Попытки выработать прямые лексико-семантические соответствия — кратчайшая и неотвратимейшая дорожка к буквальному переводу.

Но благие декларации декларациями, а теоретические разработки и «тех-нология перевода» не всегда, как видно, действуют с ними в добром согласии. Буквализм семантический, как, впрочем, и формальный буквализм, вновь и вновь заявляет о себе во всеуслышание. Причем каждый раз опираться он старается на «наиновейшие достижения науки и техники».

## БУКВАЛИСТСКИЙ ПЕРЕВОД — ФУНКЦИЯ ПЕРЕВОДА БУКВАЛЬНОГО (ПРАКТИКА)

Пойдем, воспользовавшись предложенной нам методикой, от «простого» к «сложному». Не будем только упускать из виду самих особенностей буквального перевода, процесс которого «осуществляется так, как будто элемент входит в об-щую часть двух языков», то есть *считается*, что можно установить прямое со-ответствие между некими двумя элементами в исходном и переводном языках, а форма произведения при такой установке на «семантическую точность» дости-гается автоматически...

Грузинский текст, взятый для проверки, почти наугад, приводить не бу-ду, — скажу лишь, что рассказ А. Казбеги «Голубь» написан для детей, а готому и лексика его и синтаксис просты, ясны, доходчивы и «как будто» очень подходящи для экспериментального «буквального перевода». Впрочем, перевод этого рассказа публиковался, и его анализ тоже может сослужить нам некоторую службу. Но об этом — потом. А пока приведу начало расска-за, переведенного на русский язык, по нашей просьбе, молодым филологом, для которого грузинский — родной язык, а русский — язык учебы в средней и высшей школе.

### ГОЛУБЬ

*Вы знаете, мои маленькие читатели, что такое башня? Некоторые из вас, воз-можно, видели, а некоторые, несомненно, не видели, и поэтому я объясню вам.*

*Раньше, когда была большая опасность, когда люди между собой не жили так мирно, как сейчас, они считали нужным построить такое здание, где можно было скрыться от сильного врага.*

*Для этого делали щели, дырявили скалы, строили ограды и др.*

*Башни тоже являются зданиями такого рода, и делают их высокими, очень вы-сокими, или круглыми и четырехугольными зданиями.*

*Раньше вот в таком здании прятался народ от врага, а сейчас большая часть бошен пуста и в них разные птицы строят гнезда.*

*В нашей деревне тоже стояла одна такая башня, в которой люди уже не жили.*

Перевод отрывка, как нетрудно заметить, сделан так, будто каждому элементу в грузинском языке соответствует какой-то элемент в языке русском. Система русского языка расширяется и дополняется «рядом суперкатегорий из грузинского языка, и, таким образом, «общая часть двух языков» благо-даря «установлению прямых соответствий, полученных путем непосредствен-ного указания на предметы», также значительно раздвигает свои границы, под-тверждая процесс «пересечения двух культур».

Правда, буквальность не всегда проходит для переводного «текста» без-наказанно: мы сразу же замечаем не только то, что форма произведения раз-рушена окончательно и бесповоротно, но обнаруживаем и целый ряд семанти-ческих «ошибок», которые как бы изнутри подрывают «теорию буквальности». Поэтому анализ таких «ошибок» особенно интересен и поучителен...

Посему «отсечем явные «ошибки», вынесем за скобки очевидные «фор-мальные» калки с грузинского: «раньше, когда была большая опасность», «когда люди между собой не жили так мирно, как сейчас», «они считали нуж-ным построить», «делали щели», «дырявили скалы», «строили ограды», «башни тоже являются зданиями», «делают их высокими, очень высокими, или

круглыми и четырехугольными зданиями)... Да, но что осталось от «текста» после такого вынесения за скобки явных калек с грузинского синтаксиса и грузинской лексики? Почти ничего. Оказалось, что почти весь перевод, сделанный по принципу «буквальности», грешит против системы «переводного языка». Но не будем торопиться с выводами: словечко «почти» еще оставляет место для раздумий. Поэтому приведем и опубликованный перевод начала рассказа А. Казбеги. Звучит он так:

### ГОЛУБЬ

*Знаете ли вы, мои маленькие читатели, что такое башня? Многие из вас, наверное, знают, какова она, некоторые же, возможно, не видели ее, и поэтому я вам расскажу о ней.*

*В старые времена, когда люди жили в страхе перед опасностью вражеского нападения, а мирные отношения трудно было сохранить, они старались строить такие убежища, в которых можно было укрыться от сильного врага.*

*Поэтому люди рыли пещеры, выдалбливали углубления в скалах, строили каменные ограды и прочее.*

*Башни тоже служили такими убежищами. Обычно их строили в виде очень высоких круглых или четырехугольных зданий...*

Буквальных совпадений лексики и словосочетаний в двух переводах не очень много: мы по-прежнему находим лишь «башни», в которых можно было «укрыться от сильного врага» и которые были «очень высокими», «круглыми или четырехугольными зданиями». Все остальное из нашего разговора, естественно, выпадает — тут уж возникают лексико-грамматические варианты, зависящие, конечно же, не только и не столько от буквального сохранения грузинского «элемента», сколько от возможностей его интерпретации в русской фразе.

Ограничимся посему «буквальной» лексикой и буквальными словосочетаниями: «башни»; «укрыться от сильного врага»; «очень высокие»; «круглые или четырехугольные здания». Это те блоки, которые без изменения пошли в ход в обоих переводах и которые, по всей вероятности, заготовлены были уже в самом оригинале.

Последнее обстоятельство, однако, требует проверки. Все ли перечисленные слова и сочетания действительно имеют «прямых прототипов» в лексике, в структуре языка рассказа А. Казбеги? Или мы имеем дело с простым совпадением вариантов перевода? Заглянув в оригинал, мы находим такие буквальные соответствия: «Голубь» (в названии рассказа), «башня», «от сильного врага», «очень высокие» «здания». Определения «круглые», «четыреугольные» даны каждое не одним словом, а словосочетаниями (буквально) — «кругло проведенные»; «в четыре угла». У Казбеги — не геометрические термины, а связанные с народными представлениями о природе и быте речения. И семантика их своеобразна и конкретна. Кстати, даже в словарях прошлого века то слово, которое в русском тексте рассказа Казбеги принято за «четыреугольный» — уж ближе было бы четырехугольный! — переводится как «четырёхсторонний»!

Таким образом, рамки «буквальных соответствий» сужаются еще больше. Но выясняется, что и это не предел. Есть смысл присмотреться повнимательнее к словам «башня» и «здание». Так ли уж «буквально» они передают семантику грузинских «элементов»? Право, нестораживает ли изначальный вопрос автора: «Знаете ли вы, мои маленькие читатели, что такое башня?» Да и башню, построенную для защиты от врага, именовать зданием тоже кажется не слишком удачным «словесным ходом»!

А все ведь от «буквальности», от такого «процесса перевода», при котором «считается», «будто элемент входит в общую часть двух языков». Но «элементы» могут и не иметь «прямых соответствий», и опора на поиски «прямых семантических мостов» тогда не спасает, она ведет к разрушению смысла слова, фразы, контекста. Ошибочность перевода при этом отнюдь не уменьшается...

По словарю грузинское слово «ბაშნა» действительно значит «башня». Но слово это полисемично, как, впрочем, и в русском языке (у Пушкина в «Медном всаднике»: «Громады стройные теснятся дворцов и башен», а в «Капитанской дочке»: «Я глядел во все сторсны, ожидая увидеть грозные башни, башни и вал». Здесь слово «башня» дается уже в двух разных «семантических рядах». «План выражения», звучания остается неизменным, но «план значения», содержания, смысла видоизменяется. Если же вспомнить «орудийную башню» на корабле или «башню танковую», то полисемия слова

проступит еще отчетливей). У А. Казбеги «башня» имеет вполне определенное значение. Это — не вообще «высокая постройка», протиповставленная «зданию», вытянутому по горизонтали, а воздвигнутое в горах, имеющее ценную форму каменное строение, в котором люди жили и в дни мира, а в дни войны, укрываясь за крепкими стенами от многочисленных врагов. Это не вообще «башня», это «башня» в Хевсуретии, в Сванетии, в горной Грузии. Только поэтому и закономерно обращение А. Казбеги к читателям: знают ли они, что такое башня? **Такую** башню многие «маленькие читатели» из равнинной Грузии действительно могли никогда не видеть. Но представление именно о **такой** башне, по Казбеги, и дает слову его семантическую определенность. Больше того, Казбеги естественно рассчитывает, что, спросив о «башне», он не вызовет в читателе ложных представлений, — для него «башня», повторяю, прежде всего жилище и укрепление в горах. Поэтому-то «башня» в первой фразе его рассказа («Знаете ли вы, мои маленькие читатели, что такое башня?») и не равнозначна ее русскому буквальному переводу. Тут два различных смысла, тут «семантические элементы» двух языков только как будто совпадают, и иллюзорность «совпадения» обнаруживается очень быстро. К стати, в грузинском языке есть к слову «კოშკი» синоним «გორბო», и словари XIX века точно фиксируют различие между значением этих двух слов. Первое — высокая башня, самостоятельное особое строение; второе — невысокая башня, часть здания. Значит, опять не «буквальный перевод», а «ошибка» в использовании принципа буквального перевода? Что ж, примем и такую квалификацию неудачи.

Еще проще обнаруживается ошибка в буквальном переводе слова «здание». Сванская «башня» — здание? «Башня в Хевсуретии» — здание? Слово «შებდა», которое А. Казбеги в приведенном отрывке использовал трижды, уже в словаре XIX века предусматривает несколько значений. Одно из них — «здание». Только так «შებდა» и трактуется в переводе «молодого филолога». Разнообразнее выглядит это слово в печатном переводе: оно не только «здание», но и «убежище». (Сравните: «Башни тоже являются зданиями такого рода» и «Башни тоже служили такими убежищами»). Последнее значение, конечно, точнее, хотя и не отражено в грузино-русском словаре, а «здание» хоть и значится во всех словарях, очень далеко от хевсурской «башни». Впрочем, в грузино-русских словарях оно дается в соседстве с такими синонимами, как «строение, поселение, состав человека». «შებდა» — это, так сказать, «многокомпонентная конструкция, строение, постройка». Это — не особый вид строения, особого и по размерам, и по формам, а вообще строение, постройка, «поселение». Если для Казбеги в слове «კოშკი» проступает прежде всего один из возможных локальных, конкретных «смыслов», то в слове «შებდა» — напротив, локальные, более конкретные «смыслы», в том числе и «здание», стходят на задний план. Оттого-то и не совмещаются буквально элементы двух языков: русское «здание» никак не покрывает всей семантики грузинского слова «შებდა», для которого «здание» только одно из возможных узких выделяющихся значений. Широкое же значение грузинского слова опять-таки только «как будто» присутствует в русском «эквиваленте», только «как будто» передающим содержание грузинской «лексической единицы». Снова возникает переводческая неточность, «ошибка в использовании принципов буквального перевода»...

Что же остается, в конце концов, от «буквальных соответствий»? Лишь название рассказа «Голубь» да два словосочетания: «сильный враг» и «очень высокие («здания»)». Не будем пока касаться названия, но позволим себе усомниться в возможности «прямого соответствия» между данными словосочетаниями и их грузинскими «эквивалентами».

Если мы не ограничимся только краткими двуязычными словарями, то узнаем, что грузинское «ძლიერი» хотя и значит «сильный, мощный», но имеет и некоторую дополнительную «краску», очень важную, впрочем, для значения слова. «Круг представленный» тут «заключается» не только в общем контексте фразы, отрывка, рассказа, но и в форме самого слова. Оно дается в архаизированно-народной огласовке и требует, на поверку, вовсе не словарного соответствия, а той высокой точности, которая должна не «как будто», а действительно передать содержание грузинской «лексической единицы».

Все сказанное может быть в равной мере отнесено и к словосочетанию «очень высокие («здания»)». И здесь — в оригинале — грузинская форма — архаизированно-народная, и здесь она далеко не нейтральна для звучания, колористического решения всего произведения. Но для буквального перевода все эти «тонкости» и «ухищрения» самой содержательной формы слова не имеют, конечно, никакого значения!

Сказанное нами — в скобках. А пока все же вернемся к рассказу Казбеги.

От «буквальной точности» — если, конечно, отсечь все «ошибки» — остается, пожалуй, только заглавие — «Голубь». Но тут-то нас и поджидает самая большая неожиданность. В рассказе, как выясняется, два «героя» — голубь и голубка, и история их недолгой трагической любви, небрежно, походя растоптанной людьми, теми, кто душевно огрубел в непрекращающейся междоусобной брани, рождает мощнейшее силовое поле произведения, обнажает его эллитный нерв. Но в грузинском, как известно, нет грамматической категории рода, и рассказ получает «словарное» название «Голубь». А ведь возможно и другое название — «Голубка», и еще не известно, какое из них было бы вернее. Во всяком случае, для рассказа это совсем не безразлично: в опубликованном переводе происходят сейчас довольно странные вещи — к пойманной в силос птице все «обращаются» только в мужском роде, а затем, к концу рассказа, неожиданно в повествовании возникает голубка, и грамматическая категория рода резко меняется. Не то появляется еще одна птица, не то голубь стал за зиму голубкой, не то просто голубка как будто подразумевалась в голубе. Всеми этими мелочами, понятнo, буквальный перевод по существу пренебрегает и добивается не сохранения своеобразности стиля подлинника, а абстрактной общности и неточности, — добавим от себя, — приблизительности, иллюзии сходства, миража соответствия, как будто бы близости.

### БУКВАЛИЗМ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД

Даже самые большие романтики автоматизации и программирования коммуникативных процессов сегодня весьма скептически говорят о возможности художественного «машинного перевода», а стало быть, и его теории, возвращенной на зыбком фундаменте инвариантности смысла. «Все, что выходит за рамки элементарных, формально и однозначно определяемых правил функционирования языка, не может быть объединено схемой и, следовательно, не может быть объектом машинной обработки. Не развитие техники ставит предел возможности машинного перевода, а сам язык. Машина может сделать лишь то, что ей укажет человек, а в данном случае человек бессилен воспроизвести всю программу возможного функционирования языка в соответствующий момент перевода, ибо для этого ему пришлось бы возвращаться каждый раз к творческой деятельности языка, другими словами, прибегать к помощи своего мышления при нахождении нужного результата «по смыслу». (Из статьи Л. Бархударова и Г. Колшанского «К вопросу о возможностях машинного перевода»). Еще резче высказался американский ученый, специалист по теории машинного перевода И. Бар-Хиллел: «Полная автоматизация этого вида умственной деятельности представляется абсолютной утопией по той причине, что стихи и статьи обычно пишутся для читателей, располагающих определенной суммой знаний и наделенных способностью логического мышления, включая не только собственно логический вывод, но и так называемые правдоподобные рассуждения. Эти качества никак нельзя возместить даже при условии самого остроумного использования всех формальных признаков речи» («Будущее машинного перевода»).

Даже полагая, что опыт науки в деле исчерпывающего формального описания ею своего «языкового объекта» недостаточен лишь в данный момент, что он, как свидетельствует вся история науки, будет непрерывно возрастать, сторонники машинного перевода, как видим, все-таки не покушаются на передачу индивидуальных, личностных особенностей речи каждого отдельного творца, автора «текста». Да и к чему такая «индивидуальная речь»? В плане теоретическом она представляется неким «демиургическим излишеством», не желающим успокоиться на «инвариантности смысла». В плане практическом — она выглядит, уверяют нас, неким техническим анахронизмом, не учитывающим особенностей программирования перевода. Нет, дело здесь не в недостаточной емкости «машинной памяти» — информационная «память» дело наживное! — а в том, что установка на сохранение даже лингвистического единства формы и содержания «текста» принципиально требует каждый раз **своего**, неповторимого алгоритма, своей новой программы для работы машинного переводчика. Данный алгоритм оказывается пригодным лишь для разового использования. Но тогда машина превращается в некое подобие очень сложной пишущей машинки, в которую каждый раз вводится специально подготовленная, уникальная программа — интерпретация текста и способов его воспроизведения на другом языке. В этом — суть. И уйти от нее никак не удастся. Рецептов лечения множество, но все они так или иначе «возвращают» человека в самый процесс перевода. «Разумен, очевидно, иной подход, — пишут Ревзин и Розенцвейг, — а именно: допустить прерактирование и постпрактирование в той мере, в какой они неизбежны. ».



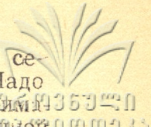
Вот и обнаружилась ахиллесова пята машинного перевода и всей теории «инвариантности смысла». Скептики не преминули, конечно, задать саркастичный вопрос: а не оказывается ли неизбежным постредактирование всего перевода?! И раздался такой вопрос не только из стана «адептов художественного перевода», но и из лагеря самих лингвистов. Одни из них, подобно Бархударову, Колшанскому, Бар-Хиллелу и многим другим, задали свой вопрос под отрезвляющим натиском самого машинного перевода. Они, не желая уже сегодня закрывать глаза на вопиющие противоречия между индивидуальной неповторимостью «текста» и практикой машинного перевода, «восстали» против игнорирования результатов практики как критерия теории. Абсолютизация теории «инвариантности смысла», по их закономерному заключению, направляет мысль исследователя к выявлению лишь «прямых соответствий информации», как бы заключенной в структуре разных языков, а расширение опытов машинного перевода все чаще сталкивает программистов с разительными несоответствиями семантики слов, семантики грамматических и синтаксических конструкций различных языков. Ситуация рисуется острейшая: отсутствие во множестве случаев «прямых аналогий», однозначных параллелей открывает в языке перевода широкое поле выбора, и тут машина оказывается совершенно беспомощной — впрочем, она себя такой вовсе не чувствует — «подхватывает» ближайшую, находящуюся под рукой, приблизительную «инвариантную» языковую форму и не замечает даже, что соломинка не спасает ее от гибели в волнах буквализма. Да другого исхода и не уготовлено, не может же она, подобно буриданову ослу, застыть перед открывающимся многообразием «смыслов» (да и к чему «застывать», когда все смыслы «инвариантивны»?!)...

И все это — не признак младенческой незрелости машинного перевода, это — настойчиво звучат голоса даже в «лагере лингвистов-структуралистов» — его принципиальная методологическая ограниченность. Без практической проверки, все чаще и вполне резонно «одергивают» сторонников «безбрежного машинного перевода», не обходится, как известно, ни одна теория, и только практика уточняет сферу применимости самой теории...

Но все это, так сказать, критика фракционная, под напором практики возвестившая — нет, не отказ от «теории прямых соответствий и инвариантности смысла», а лишь необходимость уточнения теории ее видоизменения, углубления самого понятия «структуры», самого представления об элементарных лингвистических единицах.

Совершенно иной характер носит критика машинного перевода со стороны тех теоретиков, которых структуралисты зачисляют по ведомству традиционной теории: «Разногласия» здесь и существенней, и последовательней. А из этой «критики» — многие следствия: «Общелингвистическая теория», например, все неохотней выходит за пределы Слова, а «Основы общего и машинного перевода», рассматривая свою теорию только как частное проявление «общесемиотической», а еще шире — «общейинформационной теории перевода», не прочь заняться и вопросами «прямого перевода» явлений искусства в явления литературы, а явлений литературы — в явления науки. «Машинный перевод» считает себя подготовленным — теоретически — к разрешению проблем «прямого перевода» между всеми знаковыми системами. Ревзин и Розенцвейг пишут безо всяких обиняков: «Что касается интерсемиотического перевода (например перевода речевого текста на язык киноискусства), то его разработка находится лишь в начальной стадии, но уже сейчас намечаются некоторые точки соприкосновения этого вида перевода с переводом в собственном смысле слова» (напомним, что «перевод в собственном смысле слова» противопоставляется «интерпретации»). Масштабы прямого перевода, открывающегося при таком «структурном оптимизме», грандиозны и впечатляющи. «Общая теория перевода» не замыкается, понятно, только в рамках межъязыкового перевода, — она легко распространяет свои принципы и на «интерсемиотический перевод (например перевод речевого текста на язык киноискусства)». Правда, разработка такого перевода «находится лишь в начальной стадии, но уже сейчас намечаются некоторые точки соприкосновения этого вида перевода с переводом в собственном смысле слова».

Говоря всего лишь о «некоторых точках соприкосновения», теоретики «основ общего и машинного перевода», конечно, очень и очень скромны. Они-то знают, что и сегодня уже имеется множество образцов подобного буквалистского «интерсемиотического перевода». «Переводятся» так не только живописные полотна в симфонии, а симфонии, скажем, в балеты, но и литературные произведения — и в живописные, и в музыкальные, и в хореографические поделки! Правда, ничего, кроме досады и разочарования, такие «буквалистские переводы» в читателе и зрителе не вызывают, но это уже, так сказать, практика, и теория здесь ни при чем!



Впрочем, универсальность структурно-лингвистической теории уже сегодня подкрепляется универсальностью ее «переводческой» практики. Надо ли подчеркивать, что перевод «художественных» текстов — в сфере ее внимания? Надо ли снова говорить, что в переводе произведений художественной литературы она чувствует себя так же уверенно, как и в любой другой области хранения и передачи информации. «Как десять лет назад, когда опыты машинного перевода только что начинались, так и сейчас языковедов интересует вопрос, может ли машина перевести текст Бальзака, Бунина, Маяковского и других, — вовсе не риторически вопрошал Л. Жарков в статье «Границы применимости машинного перевода», опубликованной в специальном языковедческом журнале, и сам же предлагал такое решение: — Нужно ответить ясно, и прежде всего ответить встречным вопросом: кому нужен машинный перевод текста Бальзака, какая и где существует реальная практическая необходимость в этом? А затем можно уверенно сказать, что прозаический перевод любого текста посредством машины всегда возможен, в том числе и текста художественного... Может машина выполнить и перевод прозой текста Бальзака, как и прозаический перевод, например, стихотворения Лермонтова. Но стихотворного перевода машина дать не может, и было бы чистой утопией требовать, чтобы машина выдала нам стихотворение, написанное ею на заданную тему; машина в таком случае ответила бы нам по-латыни: est modus in rebus» («есть же смысл во всех вещах!»). Противоречия в высказывании Жаркова очевидны (машинный перевод Бальзака реально никому не нужен, но... машина могла бы с ним справиться; стихотворный машинный перевод — чистой утопия, но... прозаический художественный перевод машине под силу и т. д.), но очевидны и его методологические установки: машина все может — был бы в том практический смысл. Правда, от стихотворного творчества, по словам Жаркова, машина пока отказывается, но отказывается — легко догадаться — не из-за бессилия своего, не потому, что у «художественного текста» качественно своеобразная внутренняя сущность, — нет, просто в том нет нужды! Ревзин и Розенцвейг даже упрекают Федорова за то, что он сбивается с прямой лингвистической дорожки и оперирует литературоведческими понятиями, рассматривает перевод как результат творческого процесса, говорит о неразрывном единстве содержания и формы, о передаче национального и художественного стиливого своеобразия подлинника, о воссоздании образа и т. п. Все это грех — ибо подобная терминология «неразборчиво» отражает не «объективное описание поэтического текста», а лишь субъективное восприятие художественного произведения. Это та «неразборчивость», указывается далее, которая способна привести лишь к путанице, способна только лишить машину самой возможности оперировать «объективными знаковыми системами и заключенной в них инвариантной информацией». Вот почему Ревзин и Розенцвейг, предупреждая «традиционных лингвистов» против «двойственности» терминологии и ратуя за «теоретическую цельность», считают необходимым прямо заявить, что «рассмотрение вопросов художественного перевода уместно и необходимо в любой теории перевода, в том числе в теории машинного перевода». Вот почему Ревзин и Розенцвейг далее пишут: «В этой связи мы не можем согласиться с высказанной А. А. Реформатским мыслью о невозможности построения лингвистически обоснованной теории, которая решала бы все вопросы перевода, начиная с вопросов перевода разговорников для туристов и кончая сложнейшими вопросами перевода художественного».

Явления, описываемые с «привлечением методов и понятий поэтики», — по предложенной «машинистами» схеме — прямо перекодируются в иную знаковую систему, причем, как и при любом «внутрилингвистическом переводе», знаку прямо соответствует дискретный знак, а «инвариантность смысла» достигается автоматически. Важно только не думать знаковые системы, — имея дело с поэтикой, не думать, что пред тобою «проза», — тогда ведь в переводе возникнет иная знаковая цепочка, тогда знаку из кода поэтического будет «соответствовать» знак из кода «прозаического», тогда стихотворение окажется переведенным прозой. А подобное разрушение «лингвистической формы», напомним, практически никому не нужно.

Нет, не подобными упрощенными переводами из одной знаковой системы в другую предполагают заняться программисты, создатели «интерсемиотических алгоритмов». Им необходимо иметь строгое описание каждой структуры, достичь высочайшей степени формализации такого описания, жестко зафиксировать прямые соответствия знака исходного языка знаку языка переводного.

Но «традиционные лингвисты» как раз и отрицают возможность «прямых формальных знаковых соответствий». По их глубокому убеждению, «перевод» знака знаком вовсе не приводит автоматически к точности смысла. Больше того — по их установке, такой буквалистский перевод, формы знаков способен

лишь затушевывать смысл сообщения, лишить его необходимой конкретности и точности, исторической, национальной, социальной и индивидуальной определенности.

Потому-то так недоверчиво и относится «общелингвистическая теория» к машинному переводу, автоматизированно порождающему «инвариантные смыслы». Федоров в третьем издании своей книги «Основы общей теории перевода» заявил об этом прямо, хотя и в выражениях осторожных и тщательно подобранных. «Машинный перевод, — пишет Федоров, — область не только новая, впервые разрабатываемая в истории науки и техники, но также и чрезвычайно специальная, специфическая. Сфера целесообразного применения машинного перевода неизбежно ограничена, а самое применение его требует особой обработки языкового материала, приспособления его к определенным техническим требованиям. И дело не только в границах применимости машинного перевода и степени его целесообразности по отношению к текстам разного содержания и на разных языках (уже и сейчас, по-видимому, можно утверждать, что он и более реален, и имеет больший практический смысл для текстов деловых и технических и что — даже независимо от степени осуществимости — он целесообразен для литературы художественной). Дело в том, что задача машинного перевода, основанного на языковых закономерностях точных лингвистических знаний, сама выходит за пределы лингвистики, требует для своего осуществления особой техники, специальных математических и инженерных условий. Вот почему, ставя в центр внимания перевод как языковую проблему и воздерживаясь здесь от решения специально литературоведческих вопросов художественного перевода как искусства, автор отказывается и от специального рассмотрения противоположной проблемы — перевода как техники, как автоматизированного процесса. Собственно языковая проблематика перевода берется в широких пределах, т. е. не ограничивается областью лексики и грамматики, а включает также и стилистику, более того, стилистическая форма лингвистической проблемы перевода (и не только перевода художественного) представляется автору особенно важной и интересной. Между тем это именно и есть та сторона переводческой задачи, которая наименее поддается (или даже вовсе не поддается) решению средствами машинного перевода».

Подвергнув сомнению основы не только межсемиотического автоматизированного перевода, но и машинного перевода с одного языка на другой, общелингвистическая теория исходила из собственных основных принципов. Главный из них — в редакции Федорова — гласит: «Образы подлинника, выраженные определенными языковыми средствами, могут быть переданы, «перевыражены» в переводе с помощью определенных же (пусть во многих случаях формально далеких) средств другого языка. Тем самым не только для практики перевода, но, тем более, и для теории его является необходимостью лингвистическая основа, знание закономерностей, существующих между определенными языками». Над этим заявлением следует призадуматься: Федоров, а вместе с ним и «общелингвистическая теория» вообще, вовсе не считает перевод голый языковой техникой, автоматизированным процессом, отнюдь не сводит перевод к закреплению «прямых языковых соответствий», к форсированно-жесткой замене «определенных языковых средств» одного языка «определенными» языковыми средствами другого языка. Для Федорова не исключена проблема выбора из многочисленных внешних формальных соответствий, из многих «знаковых вариантов» того «определенного языкового средства», которое способно точно воспроизвести смысл переводимого элемента оригинала. Центр приложения усилий переводчика передвигается из сферы «собственно перевода», обнаружения прямых формальных знаковых соответствий в сферу — как и следовало ожидать — интерпретации, передачи лексической, грамматической, синтаксической семантики. Вполне понятно, что в «практически-нормативной» части своего труда Федоров, развивая принципы общелингвистической теории, рассматривает не аналогии, не прямые замены слов, выражений одного языка «заготовленными впрок», присвоенными по «блочному, конвейерному методу» словами, выражениями другого языка, — он интересуется, так сказать, трудными случаями перевода, когда в родном языке переводчика как раз отсутствуют «отливки», абсолютно соответствующие языковым «формам» подлинника, когда «закономерности» оригинала требуют от переводчика поиска «формально-далеких» средств языка, понуждают его не к механической, автоматической «подстановке соответствующих слов», а к «перебору языковых вариантов» во имя семантической точности.

*Продолжение следует*



## ИССЛЕДОВАНИЕ О КРУПНЕЙШЕМ ЦЕНТРЕ ПОЗДНЕВИЗАНТИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Изучение форм общественно-экономического строя поздневизантийского города — актуальная проблема современного византиноведения. Этим и объясняется тот факт, что за последние годы опубликовано несколько монографий по этому вопросу как советских, так и зарубежных ученых. Однако все эти работы основное внимание уделяют или столице Византийской империи — Константинополю, или провинциальным городам империи и носят слишком общий характер.

Вышедшая недавно книга кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Ленинградского отделения Института истории АН СССР И. П. Медведева «Мистра» (издательство «Наука», Ленинград) посвящена изучению крупнейшего центра поздневизантийской культуры, главного города Морейского деспотата — Мистре. Автором дана целостная характеристика как социально-экономического облика города, так и отдельных черт его своеобразной культуры.

Первое, что бросается в глаза даже при беглом знакомстве с монографией, это критическое привлечение богатейшего фактического и исследовательского материала, отчасти определенно, на наш взгляд, чрезвычайно высокий уровень исследования.

Вопреки установившемуся в исторической литературе мнению, согласно которому возникновение Мистры рассматривается как типичный случай появления так называемых «новых городов», используемый в качестве примера ее преемственности от античной Спарты, И. П. Медведев доказывает, что иностранное вторжение является главным фактором, способствовавшим возникновению этого города.

Мистра основана после четвертого крестового похода, когда Константинополь был захвачен крестоносцами. Некоторые провинции Византийской импе-

рии, в частности Пелопоннес, оказали крестоносцам ожесточенное сопротивление.

Основы Мистры были заложены ахейским князем Гийомом II Виллардуеном, который намеревался построить систему укреплений и крепостей и таким образом блокировать горцев Пелопоннеса.

В период владычества франков (как называли крестоносцев на Востоке) города здесь фактически не возникло. Автор исследования называет этот период его предысторией и подлинную историю Мистры начинает с 1262 года, когда она перешла в руки греков. С этой поры, по мнению ученого, происходит массовое заселение холма Мистры. Население рекрутировалось не только из жителей Лакедомонии, как это обычно считают, но и из окрестных деревень, как полагает автор.

С переходом Мистры в руки греков начинается так называемая «греческая реконкиста», то есть отвоевывание Пелопоннеса у франков. В этом процессе Мистра играла роль основного опорного пункта. Впоследствии, после довольно сложной и долгой войны с франками, в Пелопоннесе возник так называемый Морейский деспотат со столицей в Мистре.

Деспотат, по мнению И. П. Медведева, это образование этатического типа, которое шло вразрез с римской идеей единой и универсальной империи, она лежала в основе византийской политической доктрины. Автор монографии рассматривает указанное явление (возникновение деспотата) как новый этап в развитии феодальных отношений в Византии, где целый ряд феодальных институтов зачастую существовал только de facto.

После критического анализа социально-экономической жизни Мистры в эпоху франкского завоевания, вопреки положениям некоторых советских и зарубежных ученых, И. П. Медведев прихо-

дит к совершенно логичному выводу о том, что «к моменту перехода Мореи в руки греков местная греческая феодальная знать не была связана прониарскими отношениями с центральной константинопольской властью, следовательно, и феодальное землевладение не носило прониарского характера» (стр. 53). Прониарское землевладение начинает возникать только после появления здесь византийской военнослужилой и чиновничьей знати, и, по мнению И. П. Медведева, впоследствии распространенная здесь прония — это высший этап византийского «проноя».

Касааясь монастырей и монастырского землевладения в Мистре, И. П. Медведев считает XIV век золотым веком для монастырей всей Византии, и в частности для монастырей Мистры. Интересно, что автор связывает это явление с исихастским движением, которое в то время получило большой размах и политический оттенок.

Характеризуя Мистру как центр ремесла и торговли, он пишет, что основу экономики города составляло не ремесленное производство, а сельское хозяйство. Поэтому в Мистре не существовало «среднего класса», так же как и цеховой корпоративной организации. И. П. Медведев убедительно доказывает, что ремесло и торговля играли в экономике Мистры второстепенную роль.

Характеризуя интеллектуальную жизнь города, автор подчеркивает его

выдающуюся роль в культурной жизни поздней Византии. При Кантанизице Мистра являлась центром исихастского крупнейшего идейного движения, а при Палеологах, когда она превратилась в так называемый филиал интеллектуальной жизни Константинополя, стала очагом эллинизма. В этой главе основное внимание уделяется философу Георгию Гемисту Плифону, принесшему Мистре мировую славу. Автор выясняет источники философской системы Плифона, рассматривает ее социально-экономическую обусловленность и непосредственную духовную среду, питавшую это учение. Надо тут же с сожалением отметить, что в книге крайне бегло сказано о выдающихся историках Георгии Сфрандзи и Лаонике Халкокондиле, живших в Мистре и посвятивших специальные главы взаимоотношениям Грузии и Византии.

В последней главе И. П. Медведев касается архитектуры и живописи Мистры. Несмотря на то, что он был лишен возможности непосредственно работать над ее памятниками, ему удалось все же сделать ряд ценных выводов.

Книга И. П. Медведева — большой вклад в современное византиноведение.

С. Г. КАУХЧИШВИЛИ,  
академик АН ГССР,  
И. М. НОДИЯ,  
научный сотрудник  
Института востоковедения.

## О ШИБОЧНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ

### НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К КНИГЕ Н. И. КОНРАДА «ЗАПАД И ВОСТОК»

**О**БЪЕМИСТАЯ книга академика Н. И. Конрада «Запад и Восток» впервые вышла в свет в 1966 году. Она включает его работы последних лет в области литературоведения и так называемой философии истории. В последующем году сокращенный перевод книги был опубликован московским издательством на английском языке под названием «West-East inseparable twain». Издавалась она также в Японии, причем в двух томах (примечательно, что второй том был назван так: «Восток и Запад»). В 1972 году книга «Запад и Восток» вышла повторно уже на русском языке в издательстве «Наука». По сравнению с предыдущим в это издание дополнительно включены статьи: «Витязь в тигровой шкуре» и вопрос о ренессансном

романтизме», «Средневековое Возрождение и Алишер Навои», «О всемирной литературе в средние века», а также два письма автора к его японским издателям.

На книгу «Запад и Восток», насколько нам известно, появились две рецензии в солидных советских журналах — А. Монгайт в «Новом мире» (за 1966 год, № 10) и А. В. Гулыги и В. А. Рубина в «Вопросах философии» (за 1967 год, № 3). Она обратила на себя внимание популярного сейчас на Западе историка Арнольда Тойнби (О диалоге между А. Тойнби и Н. И. Конрадом см. «Новый мир», 1970, № 7).

Мы же рассмотрим взгляды этого (ныне покойного) видного советского ученого в области изучения Японии и

Китая (в основном их языков и литературу) на кардинальные вопросы мировой истории, особенно истории Азии.

Положение об общественно-экономических формациях, по мысли автора, марксизм создал на основе европейского исторического материала, а материал истории Востока классиками этого учения был привлечен лишь попутно. К тому же касался он якобы древней эпохи, был недостаточен, а в ряде случаев просто неверно освещен наукой. И все же, как читаем в книге, «разумеется, и история народов Европы дает превосходный материал для построения общеисторической теории» (стр. 17). Но еще важнее то обстоятельство, что, по мнению Н. И. Конрада, «общие положения, выведенные на основе истории европейских народов, помогли востоковедам правильно понять то, что они увидели в историческом процессе, развернувшемся в странах Востока. Поистине торжеством марксизма явилось обнаружение в истории этих стран тех же формаций, которые были установлены на материале истории народов Европы, в частности формации рабовладельческой в древности, феодальной — в средние века» (стр. 17). Мало того — восточное общество возникло раньше европейского и потому независимо от него начало переходить к капитализму (стр. 101, 447—448). И далее автор заключает: «Положение о смене социально-экономических формаций не закон истории, а научный постулат, но без привлечения истории стран Востока это не стало бы совершенно ясным и, главное, не открылось бы в своем принципиальном, теоретическом значении» (стр. 19).

Все это кажется нам ненаучным подходом. Маркс и Энгельс, создавая теорию общественно-экономических формаций, дальше развили взгляды Гегеля на фазы мировой истории и представляли это в форме перемещения центров мировой цивилизации. Таким образом, они предлагали такую последовательность общественно-экономических формаций: первобытно-коммунистическая, азиатская, античная, феодальная, буржуазная, коммунистическая (подробно об этом мы писали в статье «Об общественно-экономических формациях», «Цискари», 1972, № 12). Углубили они также и мысли об Азии, высказанные Аристотелем, Ш. Л. Монтескье, Гегелем, экономистом Р. Джонсом, создав концепцию азиатского способа производства. В трудах Маркса и Энгельса можно найти полную характеристику азиатского общества. Притом это было сделано в основном на материале так называемой «средневековой» Азии, а не древней, как думал маститый академик.

Больше всего поражает игнорирование им всего этого, так же как много-

численных дискуссий по данным проблемам и у нас, и за рубежом. Даже в эпоху господства подобной, развиваемой Н. И. Конрадом, концепции о древнем Востоке никто не доходил до полной аналогии его истории с историей Европы как в плане экономическом, так и в политическом, культурном и т. д. Объявлялось, что древний Восток остановился на «раннерабовладельческой» стадии, перешедшей затем в феодализм, что формой государства здесь оставалась деспотия. В отличие от них Н. И. Конрад проводит полные аналогии между фазами истории древнего Китая и собственно античного мира. Аргументов, подтверждающих этот взгляд, в книге нет.

Мы понимаем, что винить в подобной концепции только автора книги «Запад и Восток» было бы несправедливо, так как уже задолго до него, и, видимо, не сознавая этого, в советской науке концепцию Маркса и Энгельса об общественно-экономических формациях синтезировали с точкой зрения сторонников так называемых «локальных цивилизаций». Как и Дж. Вико, Н. И. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, у нас тоже многие исходили и исходят до сих пор из положения, что общественно-экономические формации — это такие фазы эволюции общества, которые были пройдены всеми народами, начавшими цивилизацию до нашей эры, то есть задолго и наравне с греко-римским миром. Н. И. Конрад в этом отношении не был новатором. Новое у него заключается в том, что этот взгляд утверждается им ригористически. Он совершенно четко и несколько раз указывал, что наблюдается несколько исторических центров — Китай, Индия, Иран и Средняя Азия, Греция, Рим (число последних их мог бы увеличить!), каждый из которых самостоятельно прошел фазы Античности, Средневековья, Нового времени, а в пределах последних фаз — Возрождение, Просвещение, Абсолютизм.

В высшей степени примечательно, что близость данной концепции со взглядом О. Шпенглера, А. Тойнби и других была подмечена самим А. Тойнби. В письме к Н. И. Конраду он писал: «Однако мне представляется, что Вы и я сходимся во взглядах на дела человеческие в большей степени, чем Вы предполагаете, — если только я понял Вас правильно. Коснусь лишь нескольких пунктов.

1) В этом отношении и Шпенглер, и я, по-видимому, согласны с Вами. Если рецензия верно воспроизводит Вашу концепцию независимого возникновения идентичных явлений, например, Ренессанса, на идентичной ступени исторического развития различных обществ» (см. «Новый мир», 1967, № 7, стр. 175). Для подтверждения этого выпишем



одно из характерных мест в книге: «Возрождение — проявление общей закономерности исторического процесса, обязательно наступающего в определенный момент исторического развития народов великих цивилизаций» (стр. 82).<sup>1</sup> Или приведем места, полностью написанные в духе О. Шпенглера: «Каждый народ является субъектом истории и обладает своею собственной судьбой. Историческая деятельность каждого народа имеет самодовлеющее историческое значение» (стр. 97). «И конечно, нет отношения к науке Древности и Средневековья, этих двух великих эпох в жизни культурного человечества, как к явлению самостоятельному, глубоко органичному, законченному в себе (подчеркнуто нами. — Г. К.) и именно в этом аспекте наиболее важному для нашего научного мышления» (стр. 26). **Знаменательно в этом аспекте рассуждение автора на стр. 26—27. Но, разумеется, главный недостаток его мыслей не в этом, а в ошибочной сущности их самих. В философии истории мысли Шпенглера были превзойдены Гегелем, не говоря уже о Марксе и Энгельсе.**

Остановимся коротко на существе вопроса.

Автор «Запада и Востока», проводя аналогии между историей Европы и Азии в деталях и «поражаясь» этому сходству, как ни странно, не замечает разительных различий. В истории Европы, как известно, цивилизация возникла значительно позже, чем в Азии. Сначала она имела место на Крите, в Южной Эгейде, у этрусков, затем ее ареал расширился за счет развития греко-римского мира. Вслед за этим последовало высокое развитие цивилизации, упадок и разрушение ее варварскими нашествиями. В результате синтеза варварства и разрушенной цивилизации новая цивилизация охватила несравненно большие территории Европы — запад, север, восток, но в качественном отношении эта цивилизация была низка.

В свете этого положения посмотрим на Восток. Первые цивилизации здесь зародились значительно раньше. Уже в «древнюю эпоху» цивилизацией были охвачены обширные области Азии и Северной Африки — такой ареал распространения цивилизации не идет ни в какое сравнение с античным ареалом цивилизации. Все пригодные для земле-

дельческой жизни районы были заселены, выражаясь словами Н. И. Конрада в основном в эпоху восточной античности. В дальнейшем развитие цивилизации Азии — как в древнейших, так и сравнительно новых центрах — далеко уступает по темпам и качеству греко-римской цивилизации. Вместо взлета и упадка цивилизации в Азии наблюдается полная преемственность в культуре, обогатившейся появлением и распространением мировых религий. Варварская периферия Азии так и осталась отсталой, новые народы — гунны, арабы, турки, монголы — ничего качественно нового не принесли, поэтому было бы ошибкой связывать с их нашествием появление средневековья в старых цивилизованных центрах Азии.

Древняя цивилизация Азии и отныне развивалась плавно, правда, характеризуясь очень медленными темпами. Значит, налицо огромное различие в судьбах эволюции Азии и Европы прошлых времен. Здесь нет возможности углубиться в рассмотрение социально-экономических основ данного различия. Но, как это ни странно, Н. И. Конрад этого не замечает. Еще удивительней, что он критикует западноевропейских гуманистов за то, что они характеризуют средние века черными красками. В отличие от них автор рецензируемой книги видит многие стороны прогресса в средневековье. Нам кажется, что гуманисты вполне отдавали себе отчет в том, что говорили. Их ограниченность можно преодолеть, но отнюдь не в том направлении, как мы это видим в книге «Запад и Восток».

В ходе рассуждений ее автора в этом направлении стоит обратить внимание на новый момент. Он выделяет, по-видимому, под влиянием О. Шпенглера и А. Тойнби, определенные общности народов, сгруппировавшихся вокруг центральной цивилизации. Последняя, по мысли Конрада, как мы уже говорили, неотвратимо проходит все основные фазы эволюции общества. Благодаря этому народы, находящиеся в орбите основной цивилизации, минуют определенные фазы развития. Так модифицируется Н. И. Конрадом концепция, по которой происхождение всеми древними народами рабовладения как формации обязательно. Относительно Японии в книге читаем: «Но уже давнее утверждение феодализма в соседних странах, особенно в Китае, ликвидировало в данных региональных рамках условия, допускающие новое возрождение в них рабовладельческого строя. Поэтому в Японии элементы рабовладельчества отошли на задний план и на первый выступили те элементы, которые выросли в обстановке родо-племенных отношений, но могли быть преобразованными в феодальные».

<sup>1</sup> На стр. 21 Н. И. Конрад писал: «Если... связывать этот расцвет (т. е. науки, культуры и особенно искусства, литературы и философии. — Г. К.) с определенным этапом общей истории данной страны, то Ренессанс, как эпоха, становится строго историческим явлением, занимающим в общей истории данной страны свое специфическое место».



Эта мысль тоже неудачна по самой своей природе, а не только в применении к истории Востока. Дело в том, что классическое развитие рабства в античном мире не развило такие новые производительные силы, которые постепенно устранили бы рабство в странах его развития, исключили бы его (рабства) развитие в новых европейских регионах цивилизации. Напротив, у греков и римлян даже исходный пункт широкого развития института рабства, замеченный уже Фридрихом Энгельсом (см. К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 33), был связан с более высоким уровнем производительных сил, чем у германцев эпохи Тацита, у норманнов времен викингов, то есть в пору, ставшую поворотным пунктом в сторону развития этих народов к феодализму. Действительные причины, по которым новые европейские народы миновали рабовладельческую формацию, совершенно иные. Так это было и на Востоке, в истории отдельных как новых, так и старых народов. В других условиях в начале новой эпохи на высокоом, с точки зрения автора, уровне развития гуманизма именно историческая среда стала основой появления плантаторского рабства в частях Западного полушария<sup>1</sup>.

Мысль автора о Ренессансе, как закономерном явлении в истории любого исторического центра, лишена обоснования. Согласно нему «понимание же этого места и содержания самого явления достигается изучением Ренессанса во всех странах, где он был. Эпоха Ренессанса окажется тогда не исторической случайностью, каковой она в аспекте всемирной истории должна быть признана, если считать, что она была только в истории Европы, а исторической закономерностью» (стр. 21, см. также стр. 241, 482). А «историческая закономерность» так осмысленного Ренессанса проявилась в том, что это явление возникло независимо друг от друга в различных странах: в Китае в VIII — XV вв., в районе Среднего Востока — в X — XII вв., а в Европе — в XIV — XVI веках.

Зря упрекал Н. И. Конрад «зарубежных ученых», говорящих о Ренессансе «независимо от общеисторической, а в ней — социально-экономической основы» (стр. 19). Думается, сам автор недалеко ушел от них в этом направлении. Понимание им социально-экономиче-

ских условий, порождавших-де Ренессанс в каждом историческом центре, не выдерживает критики. В сущности у него все ограничивается общими фразами<sup>2</sup>. Так что мысль О. Л. Вайнштейна и Б. А. Чагина, кстати, высказанная по поводу одной из статей Н. И. Конрада, остается в силе и поныне: «Наличие на Востоке такого же культурного, экономического, социального и политического перелома, каким было Возрождение на Западе, никто еще не доказал»<sup>3</sup>.

Кстати, интересно проследить, как в книге «Запад и Восток» мыслится Ренессанс в Грузии и Армении. Вообще ее автор различает эпохи Возрождения автохтонного и отраженного характера. «Если первые, по-видимому, возникли в истории старых народов, так сказать, «заслуженных деятелей» истории, то вторые — в истории более молодых, вступающих на общеисторическую арену уже тогда, когда мир рабовладельческого общества уже уходил в прошлое. Поэтому своей древности — такой, какая была у старых народов, — у этих народов не было» (стр. 241). В отличие от последних, у грузин и армян, по мнению Н. И. Конрада, «была своя «древность», с культурно-исторической стороны являвшаяся в известной мере общей с древностью не только народов Ирана и Переднего Востока, но еще больше — с «античностью» греко-римской» (стр. 211, 457, 460). Но, несмотря на это, в других местах книги «ренессансы» этих народов рассматриваются в связи с Ираном и Средней Азией. В конце концов понять, какой категории Ренессанс был в Грузии и Армении, имевших свою «античность», по Н. И. Конраду, не представляется возможным. Маловразумительна в этом отношении и статья «Витязь в

<sup>2</sup> Примечательно указание автора на то, что «в 1963 г. В. К. Чалоян в работе «Армянский Ренессанс» на основе анализа широкого круга социально-экономических и культурных признаков доказывал наличие именно такой эпохи в истории Армении. В приложении к истории стран Востока работа В. К. Чалояна пока является в пределах своей темы наиболее широкой по материалу и тщательной по аргументации» (стр. 209). Относительно оценки книги В. К. Чалояна мы вполне согласны с А. Д. Люблинской, писавшей: «На проверку же оказывается, что вся аргументация автора (В. К. Чалояна. — Г. К.) находится на таком уровне, что исключает возможность научной полемики» (Вопросы истории, 1969, № 11, стр. 109).

<sup>3</sup> См. рецензию авторов на книгу «Из истории социально-политических идей», ВИ, 1957, № 2. Критику сторонников концепции Возрождения на Востоке см. в статье В. И. Рутенбурга «Итальянское Возрождение и Возрождение мировое», ВИ, 1969, № 11.

<sup>1</sup> Факт возрождения рабства в Новое время не помешал Н. И. Конраду патетически воскликнуть: «Разве мыслимо было после всего того, что выстрадало человечество в своей борьбе против разделения людей на свободных и рабов, снова возвратиться к рабовладельческому строю?» (стр. 237).

тигровой шкуре» и вопрос о ренессансном романтизме» (стр. 265—272).

В подтверждение своего взгляда автор ссылался и на И. Джавахишвили: «В 1948 г. И. Джавахишвили в своей «Истории Грузии» охарактеризовал историю своей страны в XI—XII вв., как время, по своему историческому содержанию близкое к той эпохе истории западноевропейских стран, которую назвали Ренессансом» (стр. 209). Не говоря уже о том, что И. Джавахишвили умер в 1940 году и что «История Грузии» вышла как общий труд И. Джавахишвили, Н. Бердзенишвили и С. Джанашия (под редакцией Н. Бердзенишвили; кстати, в этом году данная книга на русском языке не выходила), в ней всего-навсего сказано: «Наконец, следует отметить, что культуре и идеологии Грузии XI—XII веков присущ целый ряд признаков, характерных для европейского Ренессанса».

По замыслу автора, поставленная им главная задача заключалась не только в том, чтобы открывать свои эпохи Ренессанса в истории все нового числа народов, но и само явление Ренессанса осмыслить по-новому. В результате же налицо смутное и обедненное содержание понятия «Ренессанс», к тому же оторванное от соответствующих социально-экономических предпосылок.

В статье «Полибий и Сыма Цянь» (стр. 47—76) рассматривается творчество этих историков, живших-де в одинаковую фазу эволюции античности Греции и Рима, с одной стороны, Китая — с другой. Концепция Полибия известна и исходит из исторически динамического процесса собственно античной действительности, соответственно с экономической эволюцией, характеризующейся частой сменой форм государства. По рассуждению же китайского историка, в царстве Ся господствовал принцип «прямодушия», то есть душевной непосредственности и простоты. Китайские правители этой эпохи будто опирались именно на этот принцип. В дальнейшем же народ впал в дикость. В Иньском царстве господствовало «почитание», перешедшее в культ демонов. Последнее обстоятельство привело к победе «культуры» (нормам общественной жизни). В последовавшем Ханьском царстве снова возродился принцип «прямодушия». Таким образом, по Сыма Цяню, цикл истории Китая замкнулся<sup>1</sup>. Стоит ли подробно останавли-

ваться на таком наивном взгляде китайского историка, отнюдь не достоянием «развитой античности Китая». Как ни странно, остается фактом, что Н. И. Конрад нигде не высказывает реалистической оценки этого взгляда. Создается впечатление, что он верит в такое построение истории. Крайне уязвим для критики также взгляд автора «Запада и Востока», согласно которому оба названных историка стояли на точке зрения не простого повторения, а повторения с другим содержанием.

В статье «О смысле истории» (стр. 446—486), как бы завершающей книгу, Н. И. Конрад определяет направленность прогресса в плане распространения цивилизации, рассматривает рост познавательной деятельности, развитие языка. В изложении вопроса о прогрессе хозяйственной деятельности автор ограничивается общеизвестными фразами. Но настоящий критерий прогресса он видит не в этих факторах, а в гуманизме. «Идея гуманизма — результат огромного исторического опыта в его наиболее глубоком восприятии, результат осознания человеком в процессе такого опыта самого себя, своих общественных задач. Идея гуманизма есть высшая по своей общественной значимости и этическая категория. Она всегда была высшим критерием настоящего человеческого прогресса» (стр. 485, о чрезмерном преувеличении автором значения гуманизма см. стр. 232, 233, 237, 238, 239, 482, 484, 486). «...Поистине великим достижением человечества и, пожалуй, наивысшим проявлением прогресса было то, что люди распознали это, назвали зло злом, насилие насилием, преступление преступлением» (стр. 482). Все это и ненаучно, и далеко от реалистического понимания минувшей и настоящей исторической действительности. Говоря словами автора, «страдание, горе, преступление, человеконенавистничество, которыми заполнена вся история человечества с самого своего начала и которые все время в разных формах, масштабах повторяются», «Океан горя и страданий, в который было ввергнуто и продолжает быть ввергнутым человечество» (стр. 480, 482) — все это вряд ли имело место в такой степени, если бы гуманизм был столь могучим фактором истории.

Книга «Запад и Восток» изобилует и многими другими неверными рассуждениями. Например, автор полагал, что существование централизованного государства в Китае «раннего феодализма» обогащает наше понимание истории соответствующего периода (стр. 23). По мнению Н. И. Конрада, Китай XVII—XIX вв., Япония XVII—начала XIX в. представляли образец абсолютизма (стр. 23). Уже в древности, в условиях меж-

<sup>1</sup> Раньше Сыма Цяня Цзоу Янь говорил о пяти больших этапах, пройденных Китаем до эпохи Хань. Последний в политическом режиме каждого этапа находил свойства какой-либо из пяти стихий (земля, дерево, металл, огонь, вода), а с Хань — повторение нового цикла.

дународной общности, как полагал автор «Запада и Востока», народы сознательно стремились подтянуться к уровню того передового, что образовалось в орбите этой общности (стр. 31). «Уравнение рабов в сфере их трудовой деятельности со свободными трудящимися становилось насущной хозяйственной необходимостью» (стр. 37). «Свободные земледельцы и ремесленники были главной силой, покончившей с рабовладельческим строем» (стр. 38). «Но тем, как совесть человека древности реагировала на рабство — самое темное, злое, что создала древность, та же древность показала, что и тогда существовала у человека, в его природе сила, борющаяся с темным» (стр. 46). «Государство как некая единая экономическая, социальная и политическая структура — порождение эпохи нации». «Но разве Римская империя была государством таким же, какими являются государства эпохи наций...» (стр. 73). Возникновение и развитие естествознания, по мысли автора, «имело для того времени поистине революционное значение, предвещавшее установление нового общественного порядка» (стр. 89—90). «Ремесленники, люди наемного труда, городской плебс лишь в эпоху позднего феодализма стали выступать самостоятельно, да и то относительно: в течение же всего периода средних веков эти угнетенные слои поднимались на борьбу, лишь присоединяясь к крестьянам» (стр. 91). «В средние века именно на Востоке крестьянская борьба принимала наиболее крупные масштабы и выливалась в наиболее острые формы. Именно восстания крестьян в решительные моменты двигали историю вперед» (стр. 91, там же стр. 92). «Мне кажется, что для понимания существа того переворота в общественном сознании, который произошел в эпоху Возрождения, в первую очередь важно то, что проявилось в философии и поэзии» (стр. 228). Рабовладельческая формация «имела значение мировой системы, занимавшей тогда господствующее положение во всем мире» (стр. 30). «Феодальный строй, как господствующая мировая система» (стр. 450). «Китай в XVI—XVII вв. отнюдь не был страной, стоявшей по уровню своего исторического развития ниже Германии XVI в.» (стр. 413). Исходя из этой посылки, Н. И. Конрад утверждает, что по масштабу и по значению крестьянская война в Китае (в 20 — 40-х годах XVII в.) стоит рядом с Великой крестьянской войной в Германии (стр. 413). Об истории можно говорить с начала IV тыс. до н. э., а о предшествовавшей эпо-

хе — невозможно, так как мы знаем о ней только по данным исторической антропологии и археологии (стр. 416). «Настоящее человеческое существование возникает тогда, когда человек начинает действовать вместе с себе подобными» (стр. 467). Примеры такого рода можно еще значительно умножить.

Заканчивая наши замечания по поводу книги «Запад и Восток», остановимся на статье Н. И. Конрада «Старое востоковедение и его новые задачи» (стр. 7—28). Автор перед востоковедами ставит благородную задачу «реконструировать некоторые положения теории общественного развития, а тем самым и некоторые разделы науки об обществе в целом» (стр. 23). Действительно, перед **востоковедением**, как и перед исследователями других отраслей исторической науки, много актуальных проблем, решение которых является назревшей необходимостью, но, нам кажется, их интеллектуальную энергию надо направить отнюдь не в сторону, указанную в книге «Запад и Восток». Осознание общих проблем теории исторического процесса, изучение наследия классиков исторического материализма по проблеме общественно-экономических формаций, в том числе азиатского способа производства, новый теоретический уровень интерпретации исторических фактов, овладение методом сравнительно-исторического изучения цивилизаций — решение всех этих проблем, безусловно, поднимет на новую ступень историческую науку, в том числе востоковедение. На 24-й странице «Запада и Востока» мы читаем: «Однако, если иметь в виду науки гуманитарные, научный европоцентризм всегда таит в себе опасность механического перенесения категорий, открытых в истории и культуре стран Запада, на явления, наблюдаемые в истории и культуре стран Востока». То, что реальность такой опасности существует, это не раз доказали на практике многие историки, среди которых пример Н. И. Конрада самый наглядный.

Таковы некоторые наши замечания на философско-историческую часть книги Н. И. Конрада «Запад и Восток». Касаясь же проблем литературы, хочется сказать, что такое неверное понимание общеисторического процесса не может не привести к ошибочному осмыслению важных литературных процессов.

**Г. КОРНАШВИЛИ,**  
кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии.

# СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА „ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ“ ЗА 1974 ГОД

ПО КОМПАСУ ЛЕНИНИЗМА. I, 5.  
К НОВЫМ ТВОРЧЕСКИМ ПОБЕДАМ!  
(Грузинские писатели горячо одобряют  
Обращение Центрального Комитета  
КПСС к партии, к советскому народу).  
I, 7.  
СОВЕТСКОЙ ГРУЗИИ — 53 ГОДА! II, 5.

## ПОЭЗИЯ

АЛИ-ОГЛЫ Ч. Вечное утро. I, 16.  
АСАЕВ Р. У мирного очага. Вишня, VI, 34.  
АСТАХОВ Н. Пять сонетов, XII, 9.  
БАЛЮКОНИТЕ О. Летящее озеро. I, 14.  
БЕК Т. «Эх, не малина — снег да глина...»,  
«От косынки до маминых бог...». I, 14.  
БЕРУЛАВА Х. Я каждую весну встречаю  
удивленно. IV, 8; 22 сентября 1968 го-  
да. «Пусть хоть отсохнет рука не бе-  
да...». Снежный день. «О, новый день,  
— залог успеха...». Варазисхеви, дом 14...  
«Какой волшебник всколыхнул спер-  
ва...». Перед будей. XII, 7.  
БОЛКВАДЗЕ З. Картина. Голос отца, по-  
гибшего на войне. «Мы плачем — от  
живой причины...» II, 9.  
БУЛАВИНЦЕВ Р. Все те же мы, V, 93.  
ВАРШАНИДЗЕ М. «Когда растворяюсь я  
в незримом потоке...». VIII, 8.  
ВАСЮТКОВ А. Суздальская сказка. I, 16.  
ГЕГЕЧКОРИ Г. Шапка поэта. Баллада, в  
которой переводчик вымаливает проще-  
ние у Франсуа Вийона. Кизил. Жюль  
Верн. «Блещет снег, закат упорно...».  
«О, хотя и никем он совсем не прих-  
дится мне...». Золотые рыбки. IX, 7.  
ГОМИАШВИЛИ А. Пушкин в Дарьяль-  
ском ущелье. II, 7.  
ГРЕШИЛОВА В. «Куют мечи, а кузница...».  
I, 14.  
ГУРЕШИДЗЕ Н. Комсомольцы. III, 6.  
ДЖАНГУЛАШВИЛИ Т. Воспоминание.  
Строитель. V, 7.  
ИСАЕВ-АВАРСКИЙ А. Расулу Гамзатову.  
III, 7.  
КАХИДЗЕ М. Отчизне. IV, 8; Размышле-  
ние. Бывает так... Песня — наша се-  
стра. Не позволю! XI, 7.  
КАЧАХИДЗЕ Г. Слава честности! Одного  
лишь хочу. Ртвели подходит. Что я  
вез из села? «Ваша» жизни... XI, 5.  
КЕШЕЛАВА Б. Радость и печаль. И я  
иду... Жизнь моя! Другу. Ответ.  
Ждет и надеется... XII, 5.  
КОЗАЕВ И. Я — вечный спутник. Не люб-  
лю однообразья. VII, 8.  
ЛОМИА К. Солнце, руку мне дай! Весна

Цветы Абхазии. XI, 8.  
МАМПОРИЯ О. Солнце и стих. Меч и ло-  
за. VII, 6.  
МИРЗАЕВ М. Ураган. I, 15.  
МИРЦХУЛАВА А. Прометей. VII, 5.  
МИХАЙЛОВ А. Вера. I, 15.  
НАДИРАДЗЕ К. Старый дуб. Моем друж-  
ям. Наш добрый дом. «Когда-то в дет-  
стве...». III, 5.  
НАРИМАНИДЗЕ С. Звездопад. Шуми, ре-  
ка, шуми! Разве река становится бед-  
ной? Кто мне скажет? Месяц жатвы —  
июль. X, 8.  
НИШНИАНИДЗЕ Ш. Поэтический кален-  
дарь. Лирической музе. «Юноше ка-  
жется жизнь бесконечной пока...». «На  
этаже на высоком...». «Вот человек!  
Он совсем избалует сынишку...». Жизнь.  
«И в беде, и в удаче — ни с чем я...».  
Божья коровка. Мы, коренные жители  
вечности. VIII, 5.  
НОНЕШВИЛИ И. Сакартвело. II, вторая  
страница обложки.  
ОНЕЛИ А. Снова Риони. Мастер орнамен-  
та. IX, 5.  
ПОЦХИШВИЛИ М. Все то, что говорится  
громко... Цель. Золотой башмачок. Ве-  
ликое ярмо. «И опять высота пуста...».  
VIII, 9.  
РОКВА Ш. Земля. VIII, 10.  
САНГУЛИА Ш. Солнце — всем. II, 10.  
СЕМЕНКО М. Кавказ. Пляж. Горизонт.  
XII, 6.  
СОЛОМНИШВИЛИ З. Сельская улица.  
«Мне пряди солнце золотило...». I, 15.  
СУЛАБЕРИДЗЕ Л. «Воды шумные Вани  
и Шуамта...». Кривое зеркало. Пти-  
цы. IX, 6.  
ТАРБА И. У камина. Сванетия. Друзья.  
II, 8.  
УВАРОВ Ю. Возвращение. «Прости меня,  
кричать не научился...». I, 13.  
ХАЛВАШИ Ф. Птицы в первый день вой-  
ны. Голоса. Надежда. Наверное. «Я  
эту вот землю...». X, 6.  
ЧАРКВИАНИ Дж. Здравствуй, май! Как  
все вокруг... Сказка. Вновь Анапури.  
V, 9.  
ЧАЧАВА Н. «— Слушай, тонкая трава...».  
Изумление. Речка. Ровеснику. «Слу-  
чаются ночи такой тишины!». «Лишь  
времени дано...». Полночь. Только меч-  
та. Снежной ночью. X, 5.  
ШЕНГЕЛИА А. 1924-й. Я вступаю в гря-  
дущие годы... Благословение. Небесной  
сестре Валентине Терешковой. Солдат  
Вьетнама. V, 5.





ШЛЕНСКИЙ В. Начало лета. I, 13.  
 ШОШИН В. Песня вольных сванов. Памяти Георгия Леонидзе. VI, 33.  
 ЭМИН Г. Мое кредо. Двадцатый век. «В наш трудный век...». Буна сера, Инесса. «Привет тебе, Радость...». «Содеяв однажды некое злодеяние...». «Ах, лошади...». Монологи из поэмы «Лаура и Петрарка». «Что мне думать о смерти...». «Та строка, что со смертью...». «Стихи в грядущем подадут вам весть...». «Что свершил я?». VI, 29.

### ПРОЗА

АБШИЛАВА А. Горы, горы Кавказские. II, 23.  
 АДАМИА А. Большая и маленькая Екатерины. IV, 9; V, 10; VI, 35.  
 ГЕЛЬВИ М. Старика. IX, 30.  
 ДОНЖАШВИЛИ Т. Той севастопольской весной. V, 43.  
 ДУМБАДЗЕ Н. Собака. I, 27; Белые флаги. VII, 9; VIII, 11.  
 ИОСЕЛИАНИ Я. Тайны Сабтауна больше не существует... II, 40.  
 КАВЖАРАДЗЕ И. Надиде. II, 48.  
 КВЛИВИДЗЕ М. Остров Детства. IV, 42.  
 КЛДИАШВИЛИ С. Орфей. XI, 82.  
 ЛОМТАТИДЗЕ Г. Серафита. X, 46.  
 МРЕВЛИШВИЛИ М. Жажда жизни, XII, 44.  
 МРЕЛАШВИЛИ Л. Кабахи. I, 17; II, 11; III, 8.  
 НАТРОШВИЛИ Т. Завтра в ущелье будут скачки. X, 38.  
 ХАРАИДЗЕ Г. С поднятым забралом. III, 34.  
 ЦУЛЕЙСКИРИ Н. Тутарчела. X, 10; XI, 11; XII, 10.  
 ЧАДУНЕЛИ И. Приговор. IX, 18; X, 18; XI, 26.  
 ЧИЛАЯ С. Дети Екатерины. VIII, 35.  
 ШЕНГЕЛИА А. «Слышу, иду!». IX, 10.

### ОЧЕРК

АЛПЕНИДЗЕ В. Пути и встречи. V, 52; VII, 60; VIII, 63; IX, 39; X, 50; XII, 51.  
 БАХТАДЗЕ Г. Шедрость таланта. IX, 82.  
 ГАМКРЕЛИДЗЕ Т. Звездочеты наших дней. II, 54.  
 ГОГОЛАДЗЕ Т. Рукотворное чудо Арагви. IV, 46.  
 ДУБИНСКИЙ-МУХАДЗЕ И. Жизнь, отданная революции. III, 59.  
 ЛОХВИЦКИЙ М. Тквиевские были. I, 35.  
 ПАНДЖИКИДЗЕ Г. Золотые руки. V, 70.  
 СУЛАКАУРИ В., УРУШАДЗЕ Р. Зеленый горизонт. XI, 48.  
 ХОМУТОВ В. Продолжение легенды. V, 66.

### КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

АБАШИДЗЕ Г. Писатель и история. VIII, 72.  
 АВАЛИАНИ Г. Боевое содружество защитников Родины. II, 69.

АСАТИАНИ Г. Ответственность критика. IV, 51.  
 БАИАДЗЕ В. Приобщая к познанию. III, 73.  
 БЕЖАНИШВИЛИ Р. Многообразие и поиск. VI, 64.  
 ВГЛЯДЫВАЯСЬ В 70-е... На анкету «Литературной Грузии» отвечают литературные критики А. ДЫМШИД, И. ГРИНБЕРГ, С. ТРЕГУБ, Е. ОСЕТРОВ и Л. АННИНСКИЙ. IX, 56.  
 ГВЕРДЦИТЕЛИ Г. Быть добрым всходам! VII, 69.  
 ГВЕТАДЗЕ М. Штрихи к портрету. IV, 56.  
 ДЖИБЛАДЗЕ Г. О прошлом для настоящего. I, 45; Слав знаний и творческой фантазии. II, 60; Философия и романтика истории. III, 65.  
 ЖГЕНТИ Б. Совершенствовать критическую мысль. IV, 5.  
 ИМЕДАШВИЛИ К. Неповторимость — прежде всего (К итогам VII Всесоюзного фестиваля молодых поэтов). I, 11; «Я к вам вернусь...», X, 60.  
 КАДЖАЯ О. Пафос гражданственности. IX, 68; X, 65.  
 КАЛОЕВА Д. Народ слагает песнь об Ильиче. IV, 60.  
 КАНКАВА Г. Проникновение в современность. XI, 53.  
 КАУХЧИШВИЛИ С. Долг перед наукой. VII, 79.  
 КВАНЧИЛАШВИЛИ Т. Нужен герой, достойный подражания! VIII, 85.  
 К ВСЕСОЮЗНОМУ СОВЕЩАНИЮ ПИСАТЕЛЕЙ И КРИТИКОВ, ПОСВЯЩЕННОМУ ВОПЛОЩЕНИЮ ОБРАЗА КОММУНИСТА В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. IV, 5.  
 «К НОВЫМ УСПЕХАМ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА». Выступление первого секретаря ЦК КП Грузии тов. Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ на Всесоюзном совещании деятелей литературы и искусства «Партия — ум, честь, совесть нашей эпохи!». VI, 5.  
 МЕНАБДЕ Л. Первый поэтический привет русской поэзии. IX, 62.  
 МИТИН Г. Поворот на 180°. I, 67.  
 ПОРЧХИДЗЕ Ш. Песнопевец «края, обвитого лозами». XII, 61.  
 ПРАВОФЛАНГОВЫЕ СОВРЕМЕННОСТИ. Всесоюзное творческое совещание писателей и критиков. V, 73.  
 ПРОГРАММА — В ДЕЙСТВИИ. I, 43.  
 ТУХАРЕЛИ Д. Ненсчерпаемый родник. IX, 65.  
 ХРИСТЕСАШВИЛИ М. «Мне в этом крае все знакомо...», II, 75.  
 ЦЕРЕТЕЛИ Н. Глазами современника. I, 65.  
 ШУГЛИАШВИЛИ Д. Последние годы Иродиона Евдошвили. V, 79.

### ПУБЛИЦИСТИКА

ЗЛАТКИН М. Путь к читателю. XII, 75.



КВАТАДЗЕ Э. На пути к социальному единству. XI, 69.  
МОСИДЗЕ С. На службе литературе и искусству. III, 79.

БАРАМИДЗЕ А. «Русская наука открыла нам врата просвещения...». IV, 74.  
ДЖОРБЕНАДЗЕ С. На стыке двух культур. X, 89; XI, 75.

**ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ**

**НАШ КАЛЕНДАРЬ**

АЛИЕВА О. Славя братство народов. V, 82.  
БАКАНИДЗЕ О. Украинский поэт — друг Грузии. VII, 87.  
ВЕЛИЕВ Г. Поборники дружбы и братства. III, 76.  
ГАЧЕЧИЛАДЗЕ А. Грузинские источники «Хаджи Мурата» Л. Н. Толстого, V, 87.  
ГАЧЕЧИЛАДЗЕ Г. Дорога в никуда. I, 71.  
ГВЕНЕТАДЗЕ Г. Вклад литературоведа. II, 84; В поисках прототипа. XII, 65.  
МАГРАДЗЕ В. Послы советской поэзии в РНР. XI, 64.  
ПИРАДОВ Б. Горький и типография «Нина». IV, 68.  
ПОТАПОВ В. «Я очень продуктивно работаю...». I, 74.  
ПРИЛИПКО Г. «Кавказские» страницы романа «Кюхля». XI, 58.  
ХУЦИШВИЛИ С. Важа Пшавела о Л. Н. Толстом. XII, 69.  
ШАДУРИ В. Новое о Константине Мамацашвили, однополчанине М. Ю. Лермонтова. X, 81.

АЙДАМИРОВ А. Писатель-интернационалист (К 125-летию со дня рождения Александра Казбеги). X, 86.  
БУАЧИДЗЕ Т. Во славу Пушкина! (К 175-летию со дня рождения А. С. Пушкина). VII, 83.  
ГАМКРЕЛИДЗЕ Т. Пушкинский перевал (К 175-летию со дня рождения А. С. Пушкина). VI, 90.  
ЖГЕНТИ Б. Съезд великого единения (К 40-летию Первого Всесоюзного съезда советских писателей). IX, 47.  
КЕРЕСЕЛИДЗЕ Г. Жизнь яркая, как факел (К 100-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа). IX, 74.  
ПЕВЕЦ СВОБОДЫ И БРАТСТВА НАРОДОВ (К 125-летию со дня рождения А. Казбеги). IV, 94.  
ХУДОЖНИК, РОЖДЕННЫЙ БУРЕЙ (К 70-летию со дня рождения Н. Островского). X, 58.  
ШАДУРИ В. Пушкин и грузинская литература (К 175-летию со дня рождения А. С. Пушкина). VI, 83.

**Трибуна писателя**

**В МИРЕ КНИГ**

МАРГВЕЛАШВИЛИ Г. О подсудности судь. I, 78.  
ПАНДЖИКИДЗЕ Г. Неоплатный долг. IV, 63.

АРРО С. Первая книга. I, 94.  
БЕСТАВАШВИЛИ А. «Праздник сердца». III, 94.  
БОГОМОЛОВ И. Монография о русской журналистике на Кавказе. X, 94.  
ДЗИДЗИГУРИ Ш. Очаг грузинской культуры в Болгарии. I, 91.  
ДУДУЧАВА М. С позиции захваливания. II, 92.  
КАУХЧИШВИЛИ С., НОДИЯ И. Исследование о крупнейшем центре поздневизантийской культуры. XII, 87.  
КОРАНАШВИЛИ Г. Ошибочные построения. (Некоторые замечания к книге Н. И. Конрада «Запад и Восток»). XII, 88.  
НАТРОШВИЛИ Г. Творческий труд критика. VIII, 94.  
НОРАКИДЗЕ В. Со знанием и любовью. V, 94.  
РОСТОВЦЕВ Л. Легенда или быль. VI, 96.  
ТАБАГУА И., ЧОХЕЛИ А. Новое исследование об Антиме Иверийском. IX, 94.  
ЦАИШВИЛИ С. Важа Пшавела и мифический мир. IX, 89.  
ЦХОВРЕБОВ Н. Новое исследование о Галактионе. II, 90.

**ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА**

**ИСКУССТВО**

ЗАВЕРИН М. Когда поэт с поэтом говорит... XI, 88; XII, 79.  
КОШУТ С. Рождение художественного эквивалента. VI, 76; VII, 89.

ДЗИГУА В. Магическая сила таланта. III, 85.  
ДЖИКИЯ О. Два художника — два театра. VIII, 88.  
ТУХАРЕЛИ И. Всеволод Мейерхольд в Грузии. XII, 71.  
ЧИХЛАДЗЕ Н. Мысль, чеканная в металле. V, 90.

**НАШИ ЮБИЛЯРЫ**

**ХРОНИКА**

ПОЭЗИЯ — СМЫСЛ ЖИЗНИ (К 60-летию Григола Абашидзе). X, 72.  
ЦИЦИШВИЛИ Г. Дело жизни (К 70-летию Б. Жгенти). I, 83.

**ВСТРЕЧИ И ВОСПОМИНАНИЯ**

ТУГУШВИЛИ П. «Можно ли песню из сердца украсть?». IX, 86.  
КОРКИЯ Р. Вересаев в Грузии. III, 88.  
ЛАПЕРАШВИЛИ В. Назым Хикмет в Тбилиси. V, 92.

ЛАПЕРАШВИЛИ В. Сестра поэта-трибуна. X, 88.  
ЦИБАХАШВИЛИ Г. Поборник народного образования в Грузии. X, 96.

Сдано в производство 24 октября 1974 г. Подписано к печати 12 декабря 1974 г.  
6 печ. листов, усл. листов 8,4. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Заказ 3865

Тираж 4 000

/УЭ 00067

10 2/50



Цена 40 коп.

ИНДЕКС  
76117



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

საქ. კპ ცკ-ის გამომცემლობა